

**Виктор
КОНЕЦКИЙ**



ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

Русская проза

Русская проза (Вече)

Виктор Конецкий

Путь к причалу (сборник)

«ВЕЧЕ»

1950–1960

Конечкий В. В.

Путь к причалу (сборник) / В. В. Конечкий — «ВЕЧЕ», 1950–1960 — (Русская проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7378-4

В книгу известного ленинградского писателя и моряка Виктора Конечкого (1929–2002) вошли рассказы о морской службе, людях блокадного Ленинграда, написанные в 1950—1960-е годы XX века. В них много морской романтики, воспоминаний и размышлений о жизни тружеников моря, их нелегкой работе в отрыве от Родины, дома, семьи. Многие из этих произведений послужили основой для экранизации, в частности «Путь к причалу» (в главных ролях: Борис Андреев, Александр Метелкин, Олег Жаков; режиссер Георгий Данелия).

ISBN 978-5-4484-7378-4

© Конечкий В. В., 1950–1960

© ВЕЧЕ, 1950–1960

Содержание

В утренних сумерках	6
Заиндевелые провода	10
Без конца	18
Последний рейс	28
Сквозняк	35
Путь к причалу	40
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Виктор Конецкий

Путь к причалу

* * *

© Конецкий В. В., наследники, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

В утренних сумерках

Госпиталь стоял среди заиндевевших скал и заснеженных сопок, на самом берегу далекого северного залива. Было время сильных ветров – февраль, и штормы, почти не переставая, сотрясали стекла окон, забивая их мокрым снегом.

В палате нас было трое. Трое взрослых мужчин – офицеров, моряков. Я и мой сосед по койке слева – маленький, но грузный подводник, капитан второго ранга, – попали в госпиталь по одной и той же причине. Мы увольнялись в запас, а пока проходили медкомиссию, необходимую для получения пенсии. Подводник был известным человеком в Заполярье. В войну лодка, которой он командовал, потопила несколько больших транспортов и эскадренный миноносец.

Третьим в палате лежал майор-артиллерист. По национальности азербайджанец, майор на Севере служил недавно и в госпиталь попал из-за какого-то процесса в легких. Правда, сам он никакого процесса в своих легких признавать не желал, считал все выдумками врачей и очень торопился выписаться, чтобы скорее попасть на свою батарею. Подходил срок общефлотских призовых стрельб, а на батарее за него оставался молодой, неопытный офицер.

Днем и ночью майора донимали уколами. Уколы были безболезненными, но он их боялся, и этот страх большого мужчины перед маленькой иглой служил постоянным источником шуток в палате. Когда майора кололи, он дергался, ругался по-азербайджански и советовал сестрам идти в подручные к мясникам на бакинский базар.

Каждая из сестер, дежуривших у нас, относилась к больному по-своему. Пожилая Валерия Львовна с усталой гримасой на лице великолепным по точности движением брала в руки шприц и всаживала иглу в загорелое тело майора. На все его причитания она не считала нужным даже пошевелить бровью. Майор искусство Валерии Львовны ценил и старался при ней держаться спокойнее. Флегматичная волоокая Валя проделывала процедуру укола неторопливо, приговаривая: «Ничего страшного, ничего страшного», и своей неторопливостью выводила майора из себя. Худенькая, некрасивая Ирина Васильевна в ответ на предложение идти в подручные к мясникам бросала шприц и отправлялась вызывать главврача.

Сценки эти вносили некоторое разнообразие в скучную госпитальную жизнь.

Однажды в штормовую, метельную ночь, когда наполненная снегом темнота особенно зло билась в окна, к нам в палату принесли нового больного. Пока носилки стояли на полу, а сестра приготавливала постель, новый больной то закрывал глаза тыльной стороной руки, то судорожно зевал, поднося сложенные горсткой ладони ко рту. Это был еще мальчишка, как оказалось – юнга, ученик моториста со спасательного судна. Лицо его было чуть скуластым, чуть курносым и вообще совсем обыкновенным, но серым от боли и усталости. Изуродованные гипсовой повязкой ноги лежали на жесткой, клеенчатой подушке. Из широких рукавов госпитальной рубахи высовывались длинные, худые руки. Эти мальчишеские руки кончались большими, уже совсем мужскими кистями, сильно обветренными и темными от той несмываемой грязи, которая впитывается в поры при длительной работе с металлом. Подстрижен был юнга в обход устава – вся голова, как это положено, голая, а над самым лбом все-таки узкая полоска волос.

Когда больного переложили на койку, санитары унесли носилки и сестра погасила верхний свет в палате, я задал ему обычный вопрос: «Что это с тобой, братец, приключилось?»

– Ноги перебило, – хриплым басом ответил юнга. – Да поморозило, – после паузы добавил он.

И больше никто не стал задавать ему вопросов, потому что за внешним спокойствием лица и за неторопливостью речи чувствовалось напряжение всех сил, которым он перебарывал боль в обмороженных ногах.

Позже я узнал, что ранение юнга – перелом обеих малых берцовых костей – произошло, когда перегружали мотопомпу с нашего спасательного судна на аварийный немецкий лесовоз при оказании ему помощи в море.

Сам Вася – так звали юнгу – ничего нам о себе не рассказывал. Первые дни он вообще все время молчал. Стонать и разговаривать начинал только во сне: то терзался оттого, что помпа сорвалась за борт по его вине – он не успел закрепить оттяжку от стрелы, на которой поднимали эту помпу; то детское, давнее воспоминание мучило его. Оно было связано с войной и оккупацией, а ожило в его памяти теперь. Юнга все просил какую-то бабку Стешу крепче завязать рот козе: если коза заблеет, подвал найдут немцы. Эти две темы упрямо сменяли друг друга каждый раз, когда юнга забывался во сне.

Слушая бред Васи, подводник переставал подшучивать над майором, а майор тайком от медиков закуривал папиросу и, пуская дым под койку и кашляя, снова и снова рассказывал нам о самом сильном своем военном впечатлении. Он рассказывало разорванной трассами темноте, о свисте и грохоте снарядов и о людях первого броска десанта, уходящих в эту темноту, огонь и грохот. Он вспоминал десант под Расином в Корее в сорок пятом году. Десант, в котором майор был тяжело ранен и чуть не умер, оставшись один в осклизших прибрежных камнях.

Дня через три после появления в нашей палате юнга произошло другое событие – сменилась сестра. Та самая Валерия Львовна, которая великолепным по точности движением всаживала в майора иглу и которую майор уважал. Новая сестричка была молоденькая. Лет восемнадцати. Звали ее Машей. Небольшого роста, стройная, в блестящем от старательной глажки халате, она, первый раз появившись в нашей палате, покраснела, сказала «здравствуйте, больные» и сразу нахмурилась – верно, рассердилась на себя за то, что покраснела.

Однако ни эти серьезно сведенные брови, ни деловой, строгий взгляд Машиных глаз не могли скрыть ее радости и гордости от сознания первой полной самостоятельности. Маша только что окончила школу медсестер, и наша палата была первой, в которую она вошла не практиканткой, а хозяйкой и даже чем-то вроде начальника. Первый день самостоятельной работы запоминается на всю жизнь. Я, например, хорошо помню, как впервые штурманом поднялся на мостик, как первая линия рассчитанного мною курса легла на карту и как чересчур отрывисто и чересчур строго я скомандовал этот курс рулевому. Машенька тоже прокладывала сейчас по жизни свой первый курс.

– Продуть носовую, – сам себе скомандовал подводник при ее появлении и сел на койке. – О, небеснорожденная, – с веселым умилением глядя на Машеньку, начал он. – О, небеснорожденная девочка, давно ли Эскулап соблазнил вас служить ему?

– Чего, чего? – широко, совсем по-детски открыв глаза, переспросила новая сестричка и покраснела еще больше.

– Она вообще незнакома с Эскулапом, – трагическим шепотом сказал подводник артиллеристу. – И в этом ваше, майор, крупное несчастье.

– Так же, как и твое, – отпарировал тот.

– Вы все какие-то непонятные вещи разговариваете. – Машенька потупилась и ушла.

Подводник принял балласт в носовую, то есть опять лег на подушку, и долго, с глубоким сочувствием разглядывал артиллериста.

– Мой дорогой сосед, – наконец вымолвил он. – Она, эта маленькая эскулапка, по неопытности обязательно обломает о вас иглу. Поток вашей крови подхватит обломанный игольный кончик, и...

Майор нервно завозился на койке и перевернулся лицом вниз.

– Ты прав. Эти медики ходячий человек сделают совсем не ходячий, – пробормотал он в подушку.

Мы с подводником засмеялись, а Вася улыбнулся. Судя по этому, юнга сегодня чувствовал себя лучше. Раньше он не замечал наших шуток, а здесь даже заговорил.

– У вас, товарищ майор, полотенце на пол упало. – Вася показал на полотенце пальцем.
– Ничего, пусть полежит, отдохнет немножко, – расстроено ответил артиллерист.

До обеда, перед которым всем нам без исключения, по заполярному госпитальному правилу, делали вливание глюкозы с аскорбиновой кислотой, майора кололи уже дважды. Маша делала укол сердитому и нетерпеливому больному не без смущения и трепета. Тот, конечно, сразу же почувствовал это.

– Чего копаешься? – спрашивал он Машу. – Дергай скорей назад, слышишь?

– Да вы не волнуйтесь, – говорила Маша, часто моргая. – Все будет хорошо. Вот. Вот и все. Сейчас йод только. – Пузырек с йодом дрожал в ее левой руке.

– Плохо делаешь. Дрожишь вся. Не хочу, – злился майор. – Доктору пожалуюсь.

После такой подготовки Маша в двенадцать часов пришла к нам уже не красная от смущения, а бледная от волнения. Эмалированный подносик со шприцем и ампулами она никак не могла установить на тумбочке около койки артиллериста, потому что место было занято графином, и подносик чуть было не упал.

– Глюкозу внутривенно, – сказала Маша, боязливо глядя на майора, и облизала губы.

– Майор, смотри, она уже облизывается, – сказал подводник и с шутливым ужасом закрылся одеялом.

– Не мешайте, пожалуйста, товарищи. – Машенька умоляюще посмотрела на всех нас. – Они и так очень волнуются, – сказала она, беря майора за руку.

– С вами поволнуешься, – буркнул тот сердито. Маша затянула ему выше локтя жгут, попросила несколько раз сжать и разжать пальцы, взялась за шприц.

– Покажи иголку, сестра, – вдруг попросил майор.

– Да что вам смотреть на нее. Иголка как иголка, – робко сказала Маша.

– Покажи, покажи ему, сестрица, иголку. Он с ней поздороваться хочет, – шепнул подводник, подмигивая Маше.

Маша встряхнула головой и поднесла шприц к руке майора. Тот, скосив глаза и мучительно морщась, ожидал укола. И здесь рука у Маши дрогнула. Игла царапнула кожу на вене. Майор чертыхнулся и сорвал жгут.

– Не можешь работать – не работай, – закричал он. – Зови старшую медсестру, зови процедурную! Всех зови. Я тебе больше колоться не дам.

Маша медленно положила шприц и расплакалась. Слезы покатались из покрасневших глаз сплошным потоком.

– Я тысячу раз колола, – говорила она, прижимая к глазам полотенце. – Тысячу, и лучше всех в группе. Даже... даже Валя Голубева хуже внутривенно колола, а я, а я... – Маша глубоко вздохнула и подошла к подводнику. – Давайте теперь вам.

– О, небожительница, – заговорил тот, растерянно почесывая между бровей. – Может, лучше подождем немножко, потренируешься, а? Успокоишься...

Маша закрыла лицо руками.

Стало тихо.

– Сестра, иди сюда, что ли, – раздался хриплый басок. – Иди, иди, не бойся, – повторил юнга, приподнимаясь на локте. – Мне тоже глюкозу эту нужно.

Машенька подхватила с тумбочки майора эмалированный подносик и перешла к койке юнга.

– Ты не плачь, – говорил он. – Все поначалу попинаются. И я тоже попинался. Это не страшно. Давай, давай коли, – совал он ей руку.

– А ты-то не боишься? – Машенька всхлипывала и кончиком языка подбирала слезы.

– Да чего бояться? Действуй. – Вася откинулся на подушку. Движение получилось резким и вызвало боль в ногах – он покривился. Маша сменила иглу на шприце и наложила жгут на руку юнга. Тот лежал, уставившись в потолок.

– Скажешь, если больно будет, ладно?

– Скажу, скажу. Ничего, – ответил юнга. – Коли.

Маша снова глубоко вздохнула, нахмурила брови и ввела иглу в вену.

– Только скажи, если больно. Только скажи, если больно, – повторяла она.

– Ничего, ничего. Все попинаются. Давай.

И опять что-то не получилось у сестры.

– Что же вы, что же вы молчите! – ужаснулась она. – Ведь вам больно очень. Я вам...

Я вам в мышцу впрыскиваю. Вон как вспухло.

– Да, больно, – согласился юнга и медленно перевел дыхание. – Делай в другую руку. Делай, я говорю! – грубо крикнул он, видя, что Маша опять готова расплакаться.

– Милый ты мой, – сказала Маша и во второй раз наложила жгут. Теперь ее движения стали решительнее и быстрее. Ловким, привычным жестом она встряхнула и разбила ампулы, набрала шприц, точно и без колебаний ввела иглу в вену.

– Во, видишь, как здорово! – восхищенно произнес юнга. – Я и не почувствовал ничего.

– Давайте, сестричка, меня, – виновато покачивая головой, сказал подводник и стал закатывать рукав.

– Нет, ты лежи, подводная душа, – майор в возбуждении спустил ноги на пол. – Слушай, сестра! Не сердись, иди коли и не сердись на меня, балду, пожалуйста.

– Это вы на меня не сердитесь и ноги поднимите. Нельзя вам так. Дует по полу, – тихо сказала Маша.

Мне почему-то не спится на рассвете. В палате еще темно, но снег и изморозь на стеклах окон начинают синеть. Это, скользя под низкими тучами, опережая солнце, обогнули планету первые отблески нового дня. Электрический свет, полоска которого падает из дверей в темноту палаты, даже от этих слабых отблесков дня кажется каким-то мертвым. Желтая полоса тянется через весь потолок и кончается на беленом стенном бордюре.

Вдруг медленно и бесшумно эта полоска света начинает расширяться. Кто-то отворяет двери. На цыпочках, чисто по-женски прижимая к груди руки, в палату проскальзывает Маша. Через несколько часов кончается ее первое дежурство. Маша прикрывает дверь и оглядывает всех нас.

Я притворяюсь спящим. Убедившись, что никто не видит ее, Маша подходит к койке юнга и минуту стоит около. Потом садится на краешек. Садится так, как умеют это наши сестры: легко и как-то ласково, если только можно встать или садиться ласково. Вася спит на спине и изредка на выдохе стонет, но сегодня его не мучает бред. Одна рука юнга откинута и упирается в стенку.

Машенька нагибается и укладывает ему руку удобнее на грудь. Потом осторожно прикрывает ее уголком простыни.

Наша старая планета все вертится, и с каждой минутой в палате становится светлее. Лицо Маши в расплывчатых утренних сумерках. Нижнюю губу она чуть прикусила. Так все почему-то делают, когда боятся зашуметь. Слабый блик бродит по ровному рядку зубов. Глаз Маши я не вижу. Вместо них мягкие, глубокие тени.

Заиндевелые провода

Как большинство людей бродячих специальностей, Алексей умел ценить домашний уют и не любил гостиниц. Потертые ковровые дорожки гостиничных коридоров и тусклые листья мертвых пальм наводили на него тоску, а тишина и пустота номера обостряла чувство одиночества.

Алексей приехал в Ленинград вечером, дождался номера в гостинице только поздней ночью и проснулся, когда было уже за полдень.

День был серый, декабрьский. За окном надоедливо раскачивался провод телевизора, и Алексей с хмурым юмором подумал о том, что самое хорошее на суше – это неподвижные кровати, покой которых не зависит от силы и направления ветра на улице.

Последние годы Алексей провел на Дальнем Востоке, а сейчас попал в Ленинград после рейса из Китая в порты Балтики. Его пароход стал на ремонт в Риге – исправлять повреждения, полученные в Северном море при сильном шторме. Волны искалечили палубные механизмы, затопили один из трюмов. Алексей едва не погиб, руководя заделкой этого трюма. На время ремонта ему предложили отпуск и путевку на курорт. От путевки Алексей отказался. Хотелось побывать в Ленинграде: что-нибудь узнать о Наде или, если она в городе и у него хватит смелости, то повидать ее.

Около двух часов дня Алексей вышел из гостиницы на Исаакиевскую площадь. Снежинки путались в черных ветвях обстриженных деревьев. Урча, проезжали снегоочистительные машины. Грязная снежная пыль летела перед ними. Промерзшая громада Исаакиевского собора подпирала низкое пасмурное небо. Алексей впервые заметил надписи на фронтонах собора и разобрал славянскую вязь одной из них: «На тя, Господи, уповахум, да не постыдимся во век». Але сей не согласился с этим изречением, чертыхнулся и не стал разбирать другие. Он перешел улицу и, не смахнув снег, уселся на скамейке в Александровском саду. Вокруг него матери и няни возили на санках, носили и водили детей. От зимних одежек дети были головастыми, толстыми и неуклюжими.

«Как маленькие водолазы», – подумал Алексей и вдруг улыбнулся от неожиданного и непривычного чувства ласковости. Выкурив папиросу, прошел сквозь сад к Неве. Облокотился на гранитную ограду. Надя любила водить по граниту пальцем или замочком сумочки. Они никогда не брали друг друга под руку, когда ходили вместе. Поэтому часто сталкивались плечами. Надя смеялась.

– Мы как пингвины на прогулке, да? – спрашивала она.

Алексей не понимал, почему они похожи на пингвинов, но ему нравилось, как Надя говорила о пингвинах, и он соглашался.

Все вокруг напоминало о прошлом, – ведь ленинградские влюбленные чаще всего бродят здесь, по невским набережным, и Алексей с Надей не были исключением.

Вон там, за Дворцовым мостом, на полукруглом спуске к воде, они когда-то слушали перезвон петропавловских курантов. Надя специально повела Алексея туда слушать этот перезвон. Была такая же студеная пора. Серые крепостные бастионы, как старинные броненосцы, лежали посреди реки. Надя задумчиво говорила:

– Смотри, как красиво, но мертво. Застыло все. Нева подо льдом, и по ней ходят люди. Леша! – Она ухватила его за отвороты шинели. – Если ты захочешь, я сейчас подыщу на все это – и все растает: и снег, и лед. Волны начнут плескаться у ступенек, гранит будет теплым, и в Летнем саду распустятся деревья. Хочешь?

Он засмеялся и сказал, что хочет. Надя нагнулась и стала дышать на покрытый изморозью гранит набережной, а потом прижала пальцы Алексея к темному и влажному пятнышку в том месте, где изморозь растаяла от ее дыхания.

– Вот уже и теплый, да?..

Надя любила его тогда и ждала от него решающего слова, а он все не говорил этого слова. Он был молод. Знакомство с Надей было первым серьезным знакомством с женщиной, и Алексея пугало, что первая встреченная им в жизни, если он скажет это слово, станет и последней. Казалось, что на берегу, который Алексей часто и надолго покидал, наверное, есть другие, лучшие, нежели Надя, женщины. И Алексей по молодости боялся, что уже не будет этих новых интересных встреч, если он поспешит связать себя с Надей. «Вот из-за чего все и произошло, дубина», – сказал себе Алексей и плюнул вниз, на лед.

Потом заложил руки в карманы и пошел вдоль набережной. Ветер распахивал полы шинели и мелкой ледяной крупой сек лицо. Алексей не отворачивался от ветра. Злоба на себя охватила его, и бессознательно он наказывал себя этим холодным ветром, от которого слезились глаза, ломило скулы и лоб.

Они познакомились случайно, на улице.

Легковая машина, выезжая из подворотни, задела крылом мальчугана, который, размахивая портфелем, шагал впереди Алексея по тротуару. Как потом выяснилось, мальчуган плохо видел. Страшного ничего не произошло, если не считать разбитых очков маленького гражданина и того, что, упав, он изрядно испачкался – было мокро. Шофер затормозил, открыл дверцу, стал ругаться.

Алексей помог мальчишке встать, сказал шоферу несколько тяжелых слов и принялся платком размазывать по физиономии пострадавшего грязь и слезы. Появился милиционер. Собрались зрители.

Какая-то девушка стала отряхивать на мальчугане пальто. Она была в меховой шубке и маленькой меховой шапочке, которая держалась на ее голове, вероятно, только потому, что черная резинка от шапочки проходила под узлом волос на затылке. Волосы у девушки были светлые, а брови темные. Милиционер потребовал у Алексея и у нее адреса, записал и сказал, что их вызовут куда-то свидетелями. Алексей возмутился – этого еще не хватало! Перестал возиться с мальчуганом и ушел, оставив его на попечении девушки. Запомнились ее брови: почти черные, ровные и длинные. Алексей подумал, что, может быть, такие брови и называли раньше соболиными. Через неделю его вызвали в управление милиции. Девушка пришла тоже. Когда увидела его, улыбнулась, сказала: «Вы, наверно, хороший, но ругаетесь... очень. Вот». И покраснела.

Он проводил ее домой. Рассказывал что-то о Севере, о своем последнем плавании в Арктику. Она молчала. Только когда прощались, застенчиво спросила: «Это правда, что моржи любят музыку и плывут туда, где играют?»

А он ни разу в жизни не видел ни одного моржа.

Вскоре после знакомства с Надей Алексей уехал из Ленинграда. Вернулся месяца через три. У студентов были зимние каникулы. Надя жила в Зеленогорске, в доме отдыха. Вся ее компания увлекалась катанием с гор на финских санях. Для Алексея это дело было незнакомым, но он не пожелал сознаться в своей неопытности. Забрался на самую крутую гору, с которой решались съезжать только двое спортсменов – Надиных приятелей (к этим спортсменам Алексей, кстати говоря, ревновал ее), и покатил, хотя его и пытались отговаривать. Спуск действительно был головокружительным. Предстояло скатиться в ложбину, вылететь на другую ее сторону, в узкую щель между двумя соснами, затем опять вниз по просеке на крутом откосе, но не прямо, а по восьмерке, огибая два пня, которые торчали в самых ухабистых местах. Последним испытанием были канава и телеграфный столб возле выезда на обледеневшее шоссе.

Первый раз он доехал до двух сосен. Задел одну из них и к пню подлетел без саней, на собственном боку. Снизу ему что-то кричали и махали руками. Алексей не обратил на это внимания, вытряхнул из карманов снег и полез опять. Решиться ехать во второй раз оказалось страшнее, но сосны он миновал удачно. Зато пень почему-то попал как раз между полозьями.

Сани застряли намертво, а Алексей опять поехал дальше на боку. Теперь ему захотелось превратить все в шутку и отказаться от попытки съехать с этой проклятой горы. Но спортсмены внизу, видно, от хохота, приседали на корточки и тряслись, как паяцы. И Алексей полез опять, даже не вытряхнув из карманов снег. На гребне горы его догнала Надя. Она дышала часто. Волосы, брови, ресницы стали белыми от мороза.

– Это все потому, что вы пустой едете, – сказала она. – Нужно, чтобы кто-нибудь сидел в санях. Вот и они, – Надя показала вниз, – всегда вдвоем отсюда ездят.

Надя уселась на сани и вцепилась в сиденье.

– Пожалуй, угроболю вас, – мрачно сказал Алексей. И это была не пустая фраза. Надя зажмурилась и тряхнула головой.

– Ничего, Леша, поезжайте.

Ударил ветер в лицо, замелькал снег под полозьями. С гулом пронеслись мимо сосны. Алексей изо всех сил рванул сани вправо, в обход пня. Левый полоз приподнялся, сани накренились. Алексей и Надя свалились в снег.

– Хватит. Это уже глупо, – сказал Алексей, когда все трое – он, Надя и сани – опять собрались вместе.

– Наверно, глупо, – согласилась Надя и, не оборачиваясь, полезла в гору. Она прихрамывала. Наверху Алексей спросил, что случилось с ногой. Оказалось, что выше колена толстая шерстяная гамаша у Нади разорвана и уже взмокла от крови.

– Зацепила за что-то, – объяснила Надя, будто Алексей сам не понимал, что она зацепилась за что-то.

Они все-таки скатились тогда с горы. Мимо сосен, мимо пней, мимо столба у дороги, мимо спортсменов – Надиных приятелей. И долго, долго еще ехали они по обледенелому шоссе. А когда остановились, Надя встала и поцеловала его. Поцеловала прямо в губы.

С заиндепевших проводов слетал иней и сухой белой пылью сыпался на ее волосы...

Потом было все то, что бывает обычно: расставания и встречи, звонки из дальних городов, письма.

И вот осенний вечер. Невский. Дождь. Спор из-за зонтика – открывать или не открывать. Алексею казалось неудобным, что он, моряк, и вдруг спрячется под зонтик. Надя все-таки открыла.

– Я не могу мокнуть. Ведь мы в гости идем. Если не хочешь, не иди со мною рядом.

Он обозлился. На вечеринке, куда шли, стал ухаживать за другой – незнакомой, красивой. Кольца тяжелых кос лежали на голове незнакомки. Она держалась гордо, даже надменно. Алексей – смело и нахально.

Сказал, что не успокоится, пока не сорвет две гвоздики, приколотые к вырезу платья на ее груди, и, видно, этим, совсем неожиданно для самого себя, покорила. А когда понял, что покорила, уже не смог удержаться. Потихоньку ушел с ней. Потом что-то налгал Наде. Она поверила, потому что верила в него. Опять встречался с той, другой. Без всяких чувств, так – красивая... Хотя и знал уже, что эта красивая на ночь вешает косы на спинку стула, а гордости у нее нет ни на грош.

Ушел в море. Писал Наде из плавания по-прежнему хорошие письма. Она вдруг перестала отвечать. Через год вернулся, позвонил. Сказала, что им не нужно больше встречаться. Поехал в институт. Нашел. Думал, будут слезы. Была одна фраза: «Как ты мог». И сказала она эти слова без восклицания и без вопроса, но Алексей понял: никакого прощения сейчас ждать нельзя. Вскоре его перевели на Восток. Четыре года отплавал он и в океане, и в морях. Повидал моржей, выяснил, что музыка им безразлична, а вот нерпа – да, та любит музыку...

Алексей дотемна бродил по городу. Наконец решился и позвонил, но Нади в Ленинграде не оказалось. После института она учительствовала где-то на Севере, на Кольском полуострове. Алексей узнал ее адрес. Послал телеграмму с просьбой разрешить приехать.

Двое суток провалялся в номере, ожидая ответа, а на третьи сдал чемодан в камеру хранения и поехал. Поехал без разрешения.

Было около десяти часов утра, когда поезд остановился у маленького желтого здания станции Шум-озеро.

Едва Алексей вышел, как сцепы лязгнули, и поезд снова тронулся. Алексей подождал, пока перестали мелькать перед ним колеса, и огляделся. Поселка не было видно. Ели вплотную подступали к насыпи. Лишь у самой станции белела поляна. Огороженные жердями, стояли на поляне заледенелые стога.

Сонная дежурная, поживаясь, вышла на крыльцо. Алексей спросил, как пройти в Шум-озерский леспромхоз.

– Вон за стрелкой переезд, видишь? Оттуда вниз, через лесок...

Узкая и извилистая дорога спускалась к озеру. Голубые тени от деревьев лежали поперек дороги. В розовой дымке поднималось над дальними лесами солнце, и розовые искры вспыхивали в отполированных полозьями колесях. Было морозно и тихо. Тяжелая темная хвоя старых елей не шевелилась. Зализанные ветрами гладкие сугробы кутали стволы деревьев и почти совсем скрывали придорожный кустарник.

Алексей шел и удивлялся тому, как тишина спящих вокруг лесов и чистые краски солнечного морозного утра смирят его волнение и беспокойство от ожидания встречи с Надей. Сейчас ему казалось, что все должно быть и будет очень просто и как-то хорошо и чисто – чем бы эта встреча ни кончилась. Ведь душой он не изменил Наде тогда, четыре года назад. Все это произошло случайно, по глупости, по молодости, черт возьми!

Дорога вышла к озеру. Лес поредел и помельчал. Открылся поселок – несколько улиц и труба лесопилки. Сизые, коричневатые, серые дымки поднимались над крышами и без остатка растворялись в бледно-голубом небе. Было воскресенье. Людей не встречалось.

Алексей все же нашел какого-то мальчишку, который развлекался тем, что лазал по сугробам с лыжными палками в руках, но без лыж. Мальчишка привел его к дому, где жили учителя. Несколько берез – в розовом от солнца кружеве заиндеветых тонких ветвей – стояли у крыльца.

– Красиво тут у вас, – сказал Алексей мальчишке.

– А вы, дядя, моряк? – спросил тот.

Алексей надвинул ему шапку на глаза и пошел к дому. Поднялся по скользким ступенькам, отдышался, решительно постучал.

– Да там открыто, – хихикнул мальчишка. – Внизу учителя живут, а наверху наши классы: первые и вторые. А средние вон там, – он показал палками на другой, нового дерева дом. Дверь действительно оказалась открытой. В длинном коридоре было сумрачно и казалось холоднее, чем на улице. Уже менее решительно Алексей постучал в ближайшую дверь. Долго не открывали. Потом в коридор выскочила девушка в накинутом поверх халатика пальто.

– Ой, – сказала она, наткнувшись на Алексея. – А я думала, что молоко принесли.

– Нет, не молоко, – Алексей улыбнулся замерзшими губами.

– Где тут Кузьмичева живет?

– А, вы это к Наде? – Девушка посмотрела на него с любопытством. – Ее нет. Она в Лавду повезла драмкружок на смотр и вернется только к вечеру.

– Как же быть? Я с поезда, в ботинках, и замерз здорово.

– Чего «быть»? Посидите у нее, и все. К себе я пока не приглашаю: бедлам потрясающий. По воскресеньям я всегда отсыпаюсь. Вот ее комната, – показала она на дверь рядом.

Говорить, что это неудобно и прочее, было глупо, потому что Алексей сильно продрог и где-то надо было дожидаться вечера.

Маленькая, похожая на каюту, комната Нади была переполнена светом. Солнечные лучи, ломаясь в ледяных наростах на стеклах окна, падали на беленые стены, крашеные доски пола

и, рассеиваясь, проникали во все закоулки. Правда, особых закоулков и не было. Железная кровать, стол, полка с книгами, большая печь с маленькой плитой; за марлевой занавеской перевернутый ящик, на нем ведро с водой и кастрюльки – вот и все. Из мелочей: два каких-то цветка в глиняных горшках на подоконнике, по-видимому, безнадежно завядшие; большая литография «Сиверко» Остроухова над кроватью и открытка, всунутая в уголок рамки у зеркала: поздняя осень, уже совсем голые деревья на берегу моря и дымок парохода.

Открытка была знакома Алексею. Он помнил, как они с Надей смотрели выставку в Академии художеств, а когда уходили, она попросила его купить в ларьке открытку, чтобы с ее помощью надеть боты – у гардеробщика не оказалось рожка. Алексей купил эту – с морем и голыми деревьями. Наде открытка понравилась. Она решила, что это кощунство – мять ее. И потом там, где дымок, конечно, плывет он, Алексей. Пришлось купить для бот другую открытку, похуже и без дымка.

Весь день Алексей топил печку и то читал томик Маяковского, который взял с полки, то по моряцкой привычке шагал из угла в угол и все курил и курил. Несколько раз приходила Валя – так звали соседку – и приглашала его к себе. Он отказывался и все расспрашивал о Наде. Но Валя рассказывала только всякую чепуху: у них под окнами прошлый вторник ночью волки съели собаку, а все думали, что это дерутся пьяные. Наде попадет от завуча, потому что у нее замерзли цветы, а они школьные. Вообще Надька дура, потому что после института ее посылали в три разных сельских места и везде то предлагали преподавать анатомию вместо литературы, то оказывался полный комплект учителей. А она, вместо того чтобы взять свободный диплом и устроиться в Ленинграде, поехала еще в четвертое место – сюда. Ну и, конечно, сперва ревела ужас как. И от тоски, и потом ребята в младших классах плохо понимали ее – очень сложно материал давала. Теперь ничего, привыкла и научилась, но плохо с дровами. Летом завхоз не завез – не было машины. Теперь есть машина, а там, где лежат дрова, – дороги занесло и не проехать. Приходится самим колоть горбыли от бревен, а когда очень уж не хочется – у директора колотые дрова воруют. У него много дров, так они, как горьковский Пепе у инженера, – от многого немножечко.

Алексей сказал, что этому директору надо дать горбылем по черепу. Потом выяснилось, что директор – единственный мужчина в школе, да притом какой-то и не мужчина совсем, а как вареная корюшка, и они с ним что хотят, то и делают. Вот завуч – хотя и женщина, но...

Алексей сидел на корточках перед печкой и выковыривал из нее уголек, чтобы прикурить очередную папиросу, когда ему почудился за стенкой в Валиной комнате Надин голос.

Уголек вывалился из печки и быстро чернел.

Алексей все не прикуривал. Он слушал. Когда за стенкой засмеялись, ему показалось, что это смеются над ним. Минут через пять Надя вошла в комнату.

– Здравствуй, Алексей, – первой сказала она.

– Здравствуй, Надя, – он по-прежнему на корточках сидел у печки.

Надя медленно сняла пальто и откинула с головы платок.

– Ты получила эту... телеграмму? – спросил Алексей, заглядывая в топку и морщась от жара.

– Да.

– Ты не сердись, что я так, без разрешения, приехал?

– Нет, ничего...

– Мне было здорово страшно. И только когда шел через этот ваш лесок... Потом пацана встретил с лыжными палками. – Алексей начал засовывать в печку большое корявое полено. Оно не влезало. – Вот видишь, от смущения я ломаю твою печь.

В коридоре кто-то скрипел половицами и, должно быть, отряхивал снег – гулко стукали друг о друга валенки. Где-то в доме плакал ребенок.

Надя стала греть над плитой руки.

– Не надо ломать печку. Я и так мерзну тут с утра до ночи.

Она сказала это совсем серьезно: или думала сейчас не о том, что говорила, или намеренно отказалась принять шутку.

Алексей помрачнел и встал. Надя отвернулась, провела по лицу рукой, будто стирая с него что-то. Это был знакомый жест. Так же, как привычка, войдя с улицы, разглаживать себе брови указательными пальцами, а потом прижимать ладони к щекам.

– Ну, как живешь? – спросил Алексей. Она не стала отвечать на этот вопрос, и Алексей понял, что было глупо задавать его.

– Я недавно читала о тебе в «Комсомолке». Вы где-то попадали в шторм. Ты смелый человек, Алексей.

Алексей машинально кивнул и подошел к окну. Смеркалось. От стекла несло холодом. Снег на крышах и сугробы были синими, как обертка от рафинада.

– Какой снег синий... – пробормотал он.

– Это все от мороза, Леша, – ответила она устало и присела на его место у печки.

Леша! Его давно никто не называл так, вернее, он давно не слышал, чтобы его имя проносили с такой мягкой интонацией.

Алексей круто повернулся к Наде, задел рукой замерзший цветок и опрокинул его, но успел подхватить, не дав упасть на пол.

– Зачем они стоят у тебя здесь? Ведь они уже мертвые, – сказал он и сердито отряхнул ладони.

– Говорят, что иногда они оживают весной. Только нужно подогреть воду, когда поливаешь, – ответила Надя и прикрыла дверцу печи.

Постучали.

– Надежда Сергеевна! – Плачущий голос влетел в комнату вместе с морозным паром. Алексей увидел девочку в валенках и в лохматой ушанке.

– Плотнее дверь закрывай, – строго сказала Надя.

Девочка послушно закрыла дверь плотнее. Надя встала, оправила платье и подошла к столу.

– Ну, что тебе, Филимонова?

– Надежда Сергеевна, за что вы мне единицу поставили?

– За то, что списывала...

– Я не списывала. – Девочка хлюпнула носом и быстро взглянула на Алексея.

– Не лги, Филимонова.

– Я же только начала, а вы сразу и увидели, – обиженно протянула девочка.

Алексей обрывал с цветка сморщенные листья и слушал разговор. Старый, как мир, разговор учителя с непутевым, озорным учеником. Слушал и вспоминал, как сам списывал контрольные и получал двойки, а учителя разговаривали с ним так же строго и казались ему жестокими, несправедливыми людьми. Такими, как Надя сейчас...

Она изменилась за эти годы. Пропало то непосредственное, чуточку наивное, что сквозило в ней раньше, даже если она бывала грустна или серьезна.

– Ведь мы так давно знакомы друг с другом, Надя, – начал он, когда обиженная ушла. – Так давно. Я много видел с тех пор, как мы расстались, и...

– Чего много? – перебила Надя.

– Людей. Разных людей.

– И как? – Она усмехнулась и подняла на него глаза.

– Ты совсем не можешь мне верить, Надя? Ты знаешь, почему я приехал?

– Знаю, Алексей. Но не надо о прошлом. Не надо, прошу тебя. – Она опустила голову в раскрытую на столе книжку и ладонями прикрыла глаза. – Я знаю, ты думал: я одинока, мне пора замуж. Ты приедешь, и я уцеплюсь за тебя. Раньше я не могла бы говорить такие вещи

так... прямо. А теперь могу. Не думай, что я мщу тебе. Нет, Алексей, не хочу я этого. Только очень страшно... грустно, когда уходит любовь. Я долго мучилась, пока она отстала от меня, ты отстал...

Надя встала и тоже подошла к окну.

– Я бы так хотела любить! Так пусто без этого, Алексей.

Алексей взял ее за плечи.

– Никто, понимаешь, никто не будет любить тебя так, как люблю сейчас я. Тебе не страшно потерять это?

– Мне больно, отпусти меня. – Надя не сердилась, но сказала это так, что Алексей сразу отпустил ее плечи. Он снова отвернулся к окну.

– Так, значит, это от мороза снег синий?

– Да, от мороза, Леша.

Вот и весь разговор.

Потом Алексей колот дрова и ходил в магазин за коньяком – ему очень хотелось выпить. Но оказалось, что коньяк и водку здесь продают только в вагон-лавке, а вагон-лавка бывает только по вторникам. В магазине же было «Волжское» плодово-ягодное вино, и Алексею пришлось купить его. Пили втроем – Алексей, Надя и Валя. Алексей пил из стакана, Надя и Валя – из стопок. Вино было плохое – слабое и горьковатое. Закусывали консервированным сигом в томате и вареной картошкой.

К концу ужина погас свет. Надя сказала, что это случается у них часто, но ненадолго.

Потрескивали дрова в печке. В щели конфорок просвечивало пламя. Оранжевые блики бродили по стенам и потолку.

Все молчали. По радио передавали какую-то незнакомую музыку.

Алексей подсел к самому репродуктору.

Когда свет неожиданно зажегся, Алексею стало неловко, – казалось, что его лицо слишком ясно говорило о том, что он переживал.

Надя, наверное, тоже почувствовала какую-то неловкость. Она сразу начала разговор с Валей о методах преподавания литературы в девярых классах. И все говорила, что «надо больше давать Писарева при разборе Базарова». Валя соглашалась, но Надя приводила все новые и новые доводы в защиту своей точки зрения, будто кто-то противоречил ей. Потом Надя сказала, что ей надо проверить несколько сочинений, придется встать рано утром, а от этого вина у нее будет шуметь в голове. Алексей спросил, куда ему деваться.

Надя сняла со своей кровати одну подушку, сдернула плед, который лежал поверх одеяла, достала простыни и повела его на второй этаж в учительскую. Там они опять остались одни.

Надя стелила простыни на большом матерчатом диване. Алексей делал вид, что рассматривает географические плакаты на стенах – тундра, лесотундра, тайга, лесостепь, – а сам наблюдал за нагнувшейся над диваном тоненькой фигуркой в коричневом платье и маленьких аккуратных валенках. Когда Надя вдруг обернулась, то заметила его взгляд и покраснела.

– Ты что, погостишь тут у нас? Может быть, хочешь отдохнуть? Я завтра достану тебе лыжи, комнату снять просто.

– Не знаю, Надя. Когда ближайший поезд?

– Поезд? – Надя помолчала. – Тебе здесь, может быть, будет холодновато, но если накроешься еще шинелью, то будет ничего. – Она поправила подушку на диване. – В два ночи на Ленинград проходит мурманский, но зачем тебе идти ночью? Ночуй здесь.

– Спасибо, Надя, я подумаю. – Ему хотелось спросить, почему она не выкинула ту открытку с голыми деревьями и морем, но так и не решился.

Надя, не глядя на Алексея, прошла к дверям, остановилась на пороге, но потом вышла, так и не обернувшись.

Был первый час ночи. И, как часто бывает в безлюдных служебных комнатах по ночам, Алексею вдруг показалось, что вещи – глобус, аквариум, шкафы с тетрадами – смотрят на него, потревожившего их покой в неурочное время, с недоумением и осуждением.

Он подошел к глобусу и крутнул его. Материки и океаны слились на экваторе в сплошную пеструю полосу.

– Что же делать, а? – Странно звучит голос, когда человек разговаривает сам с собой в пустой комнате. Как будто говорит кто-то чужой, спрятанный. Алексей больше не стал говорить вслух.

Что будем делать? Наденем шинель и отправимся на мурманский поезд. Вот так. Волки нас не съедят, а откладывать расставание незачем. Только раскиснешь от этого. Вернее, ты уже раскис. Какая-то пакость начинает щипать глаза, а это уж совсем недопустимо для такого морского волка. Ничего. Ничего, все пройдет. Ты же не из тех, кто жалуется на тяжесть наказания, если виноват. А ты виноват. И вот некому волноваться о тебе, ждать, бегать в пароходство и узнавать о далеких штормах, в которых болтается твое судно, и слать радиogramмы...

Алексей покрутил пуговицу на кителе – она едва держалась. Он оторвал ее, швырнул в угол и подошел к аквариуму. Рыбы чуть шевелили хвостами.

«Мерзнет акулье племя», – решил Алексей и перетащил столик с аквариумом ближе к печке. Потом стал надевать шинель.

Может быть, воспользоваться приглашением и остаться до конца отпуска здесь? Колоть Наде дрова, носить воду, по вечерам приходиться к ней пить вино и чай, слушать вместе с ней музыку. И все говорить, что любит ее и что они будут обязательно счастливы, если соединят свои судьбы. И, может быть, Надя забудет прошлое и поверит ему...

Нет, лучше просто уйти сейчас, ночью, и пусть Надя слышит, как он уходит, пусть решает сама и сразу.

Он спустился вниз, тяжело прошел мимо ее комнаты и хлопнул входной дверью.

Сильно морозило. Белые дымки медленно и бесшумно поднимались над домами. Черное небо мерцало звездами. Ночная тишина промерзших лесов и снежных полей была вокруг. Только пронзительно стонал наезженный снег дороги под ногами, да где-то с подвывом лаял пес.

Алексей шел медленно. Он все еще не верил, что через час уедет отсюда. Он ждал: вот сейчас сзади запоет и засмеется снег под ее валенками. Надя выбежит за ним и крикнет: «Подожди, подожди еще, Алексей!» Поэтому он шел медленно и все прикидывал по времени: вот она оделась, поднялась в учительскую, увидела, что он ушел совсем, вот выбежала на улицу...

По-прежнему была вокруг ночная тишина, и даже стала она еще глубже, потому что пес перестал выть и лаять.

У опушки леса Алексей обернулся. Дорога была пустынна. Только, увязая в сугробах, шагали вдоль ее обочины молчаливые столбы и тащили к редким огонькам поселка мохнатые от инея провода.

«Может, она все же не слышала, как я ушел?» – подумал Алексей. И остановился. С озера дунул ветер. Зашуршала и стихла поземка.

Без конца

С Федором Антоновичем судьба свела меня в Магадане. Вернее, не в Магадане, а по дороге из аэропорта в город. Расстояние там километров пятнадцать. Дорога крутится меж горбатых сопок и каменистых осыпей, по обочинам ее через каждые сто-двести метров торчат высокие шесты с привязанными у верхушек пучками еловых веток. Бригады аварийщиков по этим шестам после пурги находят полотно дороги. Шоссе в тех краях зовется трассой, а метели бывают сильные и долгие. У шоферов на случай непогоды в кабине всегда припасены печурка и дрова. Но когда я прилетел в Магадан, погода была хорошая. После короткой предвесенней оттепели ударил мороз при чистом, ясном небе.

В машине нас было трое: шофер, я и сумрачный, спокойный мужчина в кудлатой меховой шапке.

Шофер рассказывал всякие страшные истории, связанные с гололедицей, и обещал показать место, где утром того дня перевернулась в кювет полуприцеп. Но оказалось, что тормоза нашей «Победы» работают плохо, и притормозить у места утренней аварии шоферу не удалось.

– Ничего, – успокоил он нас, со скоростью в шестьдесят километров выходя на очередной вираж. – Без тормозов в гололедицу даже лучше. Газком оно безопасней работать. От тормозов и все неприятности. Тормознешь, занесет и...

– Высечь бы тебя, – мечтательно сказал мой попутчик.

Шофер обозлился, долго ворчал и поругивался. Но мужчина в кудлатой шапке ничего больше не говорил. Только на вопрос: не в милиции ли он работает, ответил, что нет, не в милиции. Простой ихтиолог, специалист по лососю.

Уже вблизи города на пустынном шоссе впереди нас показалась точка. Она двигалась не прямо, а зигзагом, от обочины к обочине. Точка оказалась мотоциклистом. Очевидно, он был здорово пьян. Позади мотоцикла на длинном кожаном ремне волочилась по обледенелому гравию собака. Ее веером раскатывало по дороге, и обогнать мотоциклиста удалось не сразу.

Когда он все-таки остался позади и шофер хотел прибавить скорость, ихтиолог тронул его за плечо и попросил остановить машину.

– И чтобы тормоза сработали, дружище, – морщась, как от боли, сказал он.

Тормоза сработали. Ихтиолог выбрался из машины и, прихрамывая, пошел навстречу мотоциклисту. Тогда я впервые заметил, что он хромот.

Я вылез тоже. Солнце уже опустилось за сопки. Чахлые, редкие ели на их склонах не отбрасывали теней. Все было очень тихо вокруг. И в этой тишине особенно неприятно звучал нарастающий треск мотоцикла. Мотоциклист что-то орал широко открытым ртом.

– Стой! – крикнул ихтиолог, продолжая идти прямо на него. – Стой! – и раскинул руки в стороны.

Мотоциклист притормозил, скользя сапогами по дороге.

– Чего под машину прешься?..

Ихтиолог шагнул вперед, ударом кулака сшиб руку мотоциклиста с руля, перехватил акселератор и сбросил газ. Мотор заглох. Мотоциклист опешил. Здоровая сизо-красная морда его качнулась вниз, к рулю.

– У вас ножа нет? – спросил меня ихтиолог. Я достал перочинный ножик.

– Грабят! – завизжал мотоциклист, соскочил с машины и кинулся с дороги под откос, увязая в снегу по пояс.

– Обрежьте повод у собаки, а я бензин из бака спущу, – сказал ихтиолог. – Если дальше поедет – или сам угробится, или других угробит.

Пес лежал на боку. Он вздрагивал и скулил. На лапах, брюхе шерсть пропиталась кровью, забилась снегом, свалилась и обмерзла. Один тусклый глаз следил за нами. Другой заплыл

опухолью. Это был большой пес, помесь овчарки с лайкой. Я перерезал упряжечные ляжки у него на груди. Ихтиолог быстро и ловко ощупал ребра и лапы. Кости были целы.

– Возьму собаку, – буркнул ихтиолог.

В первой же городской аптеке мы обмыли пса теплой водой, выстригли на пораненных местах шерсть, залили их йодом и перебинтовали всего пса вдоль и поперек.

Так состоялось мое знакомство с Федором Антоновичем. Пса окрестили Маг – три первые буквы Магадана.

Второй раз мы встретились в Петропавловске. Федор Антонович был там проездом. Я пригласил его к себе на судно ночевать. Но ни я, ни он в ту ночь не спали. Спал только Маг, по северной собачьей привычке свернувшись в клубок и закрыв нос хвостом.

Ночь была тихая, темная. Кое-где, разрывая ночной мрак, мерцали на берегу огоньки Петропавловска. В открытый иллюминатор время от времени задувал ветерок. Было слышно, как трутся друг о друга швартовные троса, поскрипывают между бортов кранцы и в городе изредка гудят автобусы.

Вот в ту ночь Федор Антонович и рассказал мне эту историю. Он много раз спрашивал, не будет ли мне скучно ее слушать, не очень ли я хочу спать, и все никак не мог решиться начать. Федор Антонович, наверное, был скрытным человеком. Ему трудно было потрошить свою душу перед незнакомым. И в то же время, видимо, настала пора рассказать о пережитом кому-нибудь. Чтобы, как он говорил, разделаться с прошлым, поставить точку.

Я долго сомневался, имею ли право записать его рассказ. И почему-то решил: имею.

Пускай еще кто-нибудь задумается над этой невеселой и, по сути, обыкновенной историей, рассказанной мне мимоходом человеком, почти незнакомым.

...Как раз перед войной я был в Москве на курсах специалистов рыбного хозяйства. Попутно готовили из нас командиров запаса для морской пехоты. И через две недели после объявления войны я оказался на Ханко. Воевал там до второго ноября, когда был ранен.

В конце ноября сорок первого года транспорт, на котором нас, раненых, переправляли из Ханко в Ленинград, подорвался на mine. Ну, об этом плавании я не все хорошо помню. Запомнились вот доски трюмного настила. Тяжелые, неструганые, покрытые слоем угольной пыли. Когда судно начинало качать, уголь хрустел под настилом, а матрасы скользили по доскам. Тех, у кого не хватало сил держаться за что-нибудь на палубе, скидывало с матрасов, наваливало друг на друга.

Редкие лампы светили тускло. Они будто тлели в трюмной душной темноте. В этой темноте копошились, стонали, бредово ругались люди.

Моя рана после трех недель, проведенных в госпитале на Ханко, тревожила уже не сильно.

Помню, лежа на животе, я смотрел на ржавые шляпки заклепок, с которых мое дыхание сдувало угольную пыль, когда внизу, под нами, будто ударил огромный бубен и судно от этого удара приподнялось и остановилось, точно с разлета вылезло на камни. Где-то со скрежетом стал рваться металл и глухо заклокотал пар.

Кто мог двигаться, кинулись к трапу, и деревянный трап затрещал под тяжестью облепивших его тел.

На какое-то время я перестал сознавать, что происходит вокруг, и не сразу услышал, что тоже кричу, как и все: «А-а-а!» Потом бросился к трапу, руками и ногами отпихивая других. И только когда наверху у люка раздались выстрелы и чей-то сильный голос сразу вслед за ними приказал всем оставаться на местах, только тогда я пришел в себя.

– Спокойно, спокойно, – твердил я себе. – Ничего, только не потеряй сознание. Спокойно... – И разом ослаб, опустился на пол, почувствовав боль в бедре и тошноту.

Сверху, сталкивая с трапа раненых, спускались несколько матросов, и ослепительный, режущий свет фальшфейеров осветил наши искаженные, перепачканные в угле и крови лица. Переметнулись по трюму черные тени.

Фальшфейеры трещали, бенгальским огнем раскидывая искры.

– Судно тонет медленно. Каждые двое, кто может двигаться сам, берут одного тяжелораненого! – кричал один из моряков и потрясал наганом.

А за спинами моряков оставались свободными, пустыми ступеньки трапа и черный квадрат выхода – люка. И кто-то не выдержал и, завизжав, рванулся к трапу, к свободным ступенькам – к выходу. А тот, с наганом, вытянул ему навстречу руку и выстрелил в упор, в лицо.

– Каждые двое – одного. Быстро!

Проходила минута за минутой. Я все не мог подняться. Мимо топали люди, сопели и стонали, ругались, спотыкаясь о мои ноги. В борта тяжело ударяли волны. Время от времени судно, дрогнув, оседало вниз...

Потом я тащил по трапу человека с ампутированными у колен ногами. Безногий цеплялся за ступеньки и подтягивался, помогая мне, но все равно было очень тяжело и трудно. Казалось, прошла целая вечность, пока мы не перевалились через край люка.

Ровный голубой свет прожектора с корабля охранения освещал палубу транспорта и искрился в гребнях волн. Эти волны показались мне такими близкими, будто они уже затопили палубу.

– Тащи его туда, – матрос показал на полную людей шлюпку. Но безногий вырвался из моих рук. Помню его лицо, закушенные губы.

– Не надо. Бросай тут, – прохрипел он. – Бросай, говорю! Шлюпок не хватит на всех! Сам шуруй. – И он, дергая обрубками ног, пополз в сторону. «Шлюпок не хватит», – от этой мысли я опять почувствовал слабость и тошноту.

Вода была близко, совсем близко, и была она совсем черной, потому что луч прожектора скользнул вверх. Я заметался по палубе, кинулся к шлюпке, но меня отшвырнули от нее. Судно все быстрее и быстрее заваливалось на борт. Я споткнулся, упал, покатился к борту и здесь увидел прикрепленный к вантам пузатый спасательный плотик. В суматохе еще никто не завладел им.

– Вот и спасен. Вот и спасен, – шептал я, забираясь в плотик. Мне хотелось скорчиться на его дне, зажмуриться, чтобы не видеть темных набегающих волн. Но защелка, крепящая плотик к вантам, все не разжималась, и, встав во весь рост, чтобы выдернуть ее, я увидел на выступе у кожуха дымовой трубы неподвижную фигуру человека.

Безногий сидел, ухватившись за скобы трапа. Искры от самокрутки падали на полы его шинели. И только тогда, в плотике, зная, что теперь спасусь, обязательно спасусь, я осознал то, что сделал, – бросил его, человека, который не мог двигаться.

Не помню, как я добрался к нему, как тащил его по скользкой накренившейся палубе. Он отбивался и, задыхаясь, кричал мне в самое ухо ругательства. У него не было ног. Он знал, что драться больше не сможет, а драка только начиналась тогда.

Наш плотик со сторожевика не заметили. Свет прожектора все тускнел и тускнел вдали. А к утру нас прибило к островку у побережья Эстонии, в глубоком немецком тылу.

За всю ночь мы не обменялись и десятью словами. Нам обоим все было ясно.

На берегу я оттащил безногого под нависшую над припаем скалу и лег рядом с ним. У кромки припая шуршали и плескали в набегавшей волне обломки льдин и смерзшиеся снежные комья. Было холодно, но безветренно и солнечно. Солнце нагрело камень, под которым мы лежали, и безногий то и дело прикладывал руку к шершавому боку валуна. Обросшее щетиной, с запавшими щеками, воспаленными, слезящимися глазами лицо его было повернуто к солнцу. Угольная пыль въелась в веки, засохла в уголках рта.

– Ты уходи. Не задерживайся. Слышишь?

Я не отвечал. Я знал, что после всего пережитого ни за что не брошу его одного здесь, на берегу. Нужно было искать какое-нибудь жилье, людей, которые возьмут его к себе. Но немцы, конечно, охраняют побережье, следят за всяким жильем у моря. А кулаки-эстонцы с хуторов и по своей воле выдадут нас им.

– Ты уходи. Не задерживайся. Я все одно... – Он взял мою руку, прижал к мокрым бинтам на ноге. – Пузырится тут. На обеих так. Гангрена.

– Чепуха. Еще...

– Брось, – он поморщился, с трудом повернулся на спину и продолжал говорить по-прежнему спокойно и ровно. – Я, друг, за эту ночь много передумал. Все к общему знаменателю подвел. Я бы и раньше тебя освободил, да все чуда ждал. Ладно, если ты живым останешься, то просьба к тебе будет: зайдешь к жене моей. Сам зайдешь. И скажешь, что в бою умер. В бою, понял?! Не калеккой, а... Плохо мне. Мутит в мозгах.

Я сказал, чтобы он молчал, берег силы. Еще не все кончено...

Он ничего не ответил и закрыл глаза. Прошло несколько минут в молчании и тишине. Только шуршала от слабой волны ледяная каша.

– Вот и все, – сказал он шепотом, не открывая глаз. Мне показалось, что это бред. Но он не бредил, потому что сразу же заговорил другое. – Идти на восток, к фронту тебе нет смысла – не пройдешь. Иди на юг. Если мы на островах Пакри, то старайся быстрее выбраться на материк. Под берегом железная дорога. Там будь особенно осторожен. Партизаны...

– Я никуда не пойду, пока не пристрою тебя.

Опять он ничего не ответил мне. Попросил помочь повернуться на бок и приподнять ноги. Я сделал это.

– Спасибо. Анне скажи еще... – Он произносил это имя так, будто в нем было не два, а много «н». Верно, ему хотелось, чтобы это короткое имя звучало дольше. – Ладно. Ничего не надо. Сейчас сходи посмотри: может, где еще выкинуло кого из наших.

Я сказал, что пойду искать жилье.

– Иди, давай иди. Ты неплохой человек. Иди.

Я выбрался из-под скалы и побрел вдоль берега. Берег был высокий, обрывистый и прикрывал меня с суши. Я отошел шагов двадцать, когда сзади хлопнул револьверный выстрел. Он выстрелил себе в грудь, но, видно, не попал в сердце и умер не сразу. Я тушил и все не мог потушить тлеющую на его груди шинель, а он звал эту Анну. Записка с адресом торчала из-за ремешка фуражки.

Я похоронил его в расщелине между валунов. Солдатская треснувшая каска валялась на берегу. Я носил в ней песок и гальку и засыпал расщелину. Потом заложил это место гольшами, укрепил поверх них каску и ушел.

Без плена не обошлось, но рассказ сейчас не об этом. Скажу только, что из плена я бежал, воевал вместе с югославскими партизанами и вернулся в Россию через полтора года после окончания войны. Свое обещание я помнил и заехал в Ленинград, чтобы найти и повидать Анну. Они жили недалеко от Театральной площади. Они – потому что у него, у погибшего, был сын Андрейка, о рождении которого он не успел узнать.

Этот Андрейка и встретил меня. Он долго возился за дверью и все спрашивал, кто пришел. Мне было трудно объяснить ему это.

Андрейка был здорово похож на отца, и я без труда узнал, кто передо мною. Я спросил, дома ли его мать.

– Нет. Нету.

– Мне нужно подождать ее. Я был на войне вместе с твоим отцом.

– Папа скоро теперь вернется?

Мне не приходило в голову, что здесь еще могут надеяться и ждать. Чтобы не отвечать, я стал раздеваться. Снял шинель и кинул ее Андрейке.

– Повесь, хозяин.

Андрейка потащил шинель к вешалке, но запутался в ее полах и упал. Я помог ему встать и сам повесил шинель.

– А мама говорит: скоро. Мама скоро ждет его.

На столе в кухне лежала записка, написанная печатными буквами: «Если съешь всю кашу сразу, мы поссоримся». Тарелка рядом с запиской была пуста.

– Кто у тебя мама?

– Химик. Ей дают молоко. Каждый день бутылку.

Окно кухни выходило на двор. Несколько полужасохших лип стояло посреди двора. Между ними бегали мальчишки и, видно, кричали, но сквозь стекла их не было слышно.

– Коляна на самокате ездит, – объяснил Андрейка, увидев, что я смотрю в окно, и вздохнул. – Папа храбрый?

– Да, дорогой. Он смелый. И сильный. Очень.

Потом я делал из консервной жести наконечники для стрел, а Андрейка учил меня, как делать их лучше.

...Я совсем не думал, что Анна так молода. Ей было около двадцати семи лет. А выглядела еще моложе. Мне не пришлось ничего объяснять ей. Я только сказал, что приехал вот, что был на войне вместе с ее мужем... Он просил...

Анна взялась рукой за горло, опустила голову.

– Где он, где? Скажите же быстрее, где... – и все это без крика, тихо.

Андрейка заплакал и сунулся головой ей в колени.

Она попросила меня съездить с ней туда, в Эстонию. И через несколько дней мы поехали. Мне, собственно, можно было позволить себе неделю, другую задержки. Да никто и не ждал меня здесь, на Востоке. Мать умерла в войну, женой обзавестись не успел.

Поезд пришел на станцию поздно вечером. Всю ночь мы с Анной провели в деревянном бараке, заменявшем разрушенный вокзал.

Анна то и дело выходила на перрон, хотя из низких темных туч сеял дождь. Дверь в барак плотно не затворялась. В щель проскальзывал ветер и перекачивал по затоптанному полу окурки.

Была осень. В лощине за путями шуршали ивняки. Дальше – смутно чернели сосны и тоже шуршали от порывов плотного, влажного ветра с моря.

Анна, не прячась от дождя, ходила по открытому перрону. Она не замечала на нем ни луж, ни щербин от осколков, заполненных водой.

Мне было больно видеть, как она мучается, и в то же время радостно сознавать, что есть на свете любовь такой силы и женщины такой веры и верности.

Заходя в барак, Анна отряхивала плащ, садилась рядом со мной на широкий вокзальный диван. В бровях и волосах ее блестела дождевая пыль.

Анна брала у меня папиросу, долго крутила ее, осторожно отщипывая с кончика лишний табак.

– Не мучайте себя так. Не надо. Прошу вас, – повторял я избитые слова утешения.

– Да. Да. Ветер какой сильный. Скажите, это далеко отсюда?

Она спрашивала уже много раз, и я много раз объяснял, что нет, не очень далеко. Утром можно будет достать катер, и к полудню будем на месте.

– Спасибо. Простите, что я так побеспокоила вас с этой поездкой. Погода плохая, осень.

А вы...

– Не надо, Анна.

– Какие долгие гудки у паровозов. И зачем так долго гудеть? Уже все услышали, а он все гудит и гудит.

– Когда Андрейка пойдет в школу? В этом году?

– Андрейка? Летом он поедет в «Артек». В Крым. Незадолго до войны мы были там. Солнце. Гудрон на шоссе мягкий, каблуки вязнут в нем. Дима говорил, что мои следы останутся там навсегда.

Анна смотрела мне в лицо, но, наверное, совсем не видела меня. В эту ночь она говорила со мной так, как может говорить женщина разве что со своей матерью. Я узнал о том, как они познакомились, как долго Дмитрий не решался сказать ей о своей любви, и Анна первая сказала ему, что любит. Ей тогда всего девятнадцать лет было, а ему двадцать два. Спустя год началась война.

– В последнюю ночь перед отъездом он спал. Очень устал накануне. А я не спала. Все боялась пошевелиться. Его рука лежала у меня под головой. Я все думала: «Только бы не было тревоги. Только бы не было». Тогда в Ленинграде часто бывали тревоги. Утром он уехал. На лестнице он поцеловал мне ладони. Раньше он никогда не делал этого. А когда шел через двор, ни разу не оглянулся. Это был наш уговор – ему не оглядываться, мне не смотреть вслед.

Изредка Анна встряхивала головой, сдвигала брови и трогала меня за пуговицу шинели. В такие моменты я знал, что вот сейчас она замечает меня, понимает, что она не одна – я рядом. Губы у нее были чуть подкрашены. Я впервые заметил это и понял: она подкрасила губы не потому, что делала это всегда, не для того, чтобы казаться красивее. Она просто хотела скрыть следы переживания и тоски, не хотела привлекать внимания.

– Послушайте, – шепотом говорила Анна, – ведь я его ждала. Ждала до самого вашего приезда. Как тяжело ждать так долго.

Она опять уходила на перрон. Слабая пружина плохо закрывала дверь. Ветер шевелил у моих ног окурки и переносил через высокий порог брызги. Дежурная железнодорожница прикрывала двери плотнее. Беззлобно ругалась: «Все шляется тут взад и вперед. И куда шляется – под дождь».

Я помнил последнюю просьбу Дмитрия. Я не сказал Анне правды о том, как он умер.

К утру дождь кончился. Туманная дымка над морем быстро редела. Вставало солнце. Слабо плескала зыбь, накатываясь на сваи причала. Перестук мотора подходящего катера был слышен еще издали.

Эстонец-рыбак в бахилах и рваной зюйдвестке, улыбаясь, помог Анне сойти в катер.

– В Хелму или Райни, отдыхающие? – весело спросил он. Я сказал, куда. Рыбак удивился. – Там никто не живет, и подойти трудно: нет причала.

– Это очень нужно. – Анна говорила едва слышно и не смотрела на эстонца. – Сделайте.

Очевидно, он понял, что это не простая прихоть. Перестал улыбаться, кивнул. Вместе с ним я пошел в маленькую рубку на корме катера. Анна осталась на палубе. Ветер откинул с ее головы капюшон плаща, трепал волосы.

Я объяснил эстонцу, в чем дело, показал мысок с нависшей над морем скалой, за которым надо было подходить к острову.

– Хорошо. Все сделаю. Идите к ней.

Анна была бледна. У глаз ее лежали тени. За эти несколько дней она постарела, изменилась.

Море у горизонта тускло блестело. Это скользили по нему лучи низкого солнца. Волны подкидывали легкий катер, хлюпали. От винта за кормой летела пена.

Я говорил Анне, что там, за морем, Финляндия, Ханко – Красный Гангут. Там мы дрались среди гранитных скал и воды...

Я говорил все это, чтобы как-то отвлечь ее от тяжелых мыслей. Анна кивала головой, придерживая спутанные волосы.

Катер коснулся гальки метрах в трех от берега. Эстонец прошел на нос катера, слез в воду, позвал Анну и на руках перенес ее на берег. Потом подтянул катер ближе. Я спрыгнул. Нависшая над водой скала, под которой мы тогда лежали, была правее нас. Скалу можно было

обойти поверху или снизу. Я спросил Анну, как она хочет идти. Анна, не отвечая, стала подниматься по откосу между валунов. Я обогнал ее. Я боялся, что могила может быть разрушена.

Но все там оставалось так, как было. Желтая, легкая трава росла вокруг каски. Несколько стебельков торчали и из трещины в ней.

Эстонец снял зюйдвестку, что-то сказал по-своему.

Анна опустила на колени, тронула каску рукой.

Травинки вокруг закачались.

Я еще задержался в Ленинграде: хлопотал пенсию Андрейке. Анне не приходило в голову просить о ней раньше. И чтобы оградить ее от бездушных вопросов, которые задают в канцелярии, этим делом занимался я.

А вечерами мы с Андрейкой ходили встречать Анну. Она кончала работу поздно. Мы поджидали в саду недалеко от завода, на котором она работала.

Вечерний морозец прихватывал слякоть и лужи тонкой коркой льда. Опавшие листья на газонах и дорожках поблескивали инеем. Андрейка ворошил ногами листья и ходил по лужам. От разворошенной листвы поднимался чуть заметный пар. Ледок в лужах ломался. Следы от Андрейкиных галош заполняла черная, густая вода. Все это ему нравилось.

Мне было очень хорошо с Андрейкой. Я чувствовал, как смягчается в его присутствии моя душа, очерствевшая и огрубевшая за долгие годы войны.

Так славно бывало тогда в саду. Тихо. Сумеречно. Промытое осенними дождями небо после заката покрывалось прозрачной сизой пеленой и темнело ровно и медленно. Древесные ветви рисовались на нем сперва четко и явственно. Потом будто все теснее переплетались между собой, и вот уже только темные купы обнаженных вершин дремали вокруг.

Приходила Анна. Я брал у нее сетку с кастрюльками и бутылкой – обед из заводской столовой и молоко. Крышки на кастрюльках звякали.

– Вы только тихонько, – говорила Анна.

Андрейка совал ей почерневший от заморозков георгин или пучок кленовых листьев. Анна приседала возле Андрейки на корточки, разглядывала его лицо, поправляла сбившуюся шапку, застегивала пуговицы.

– Ты лучше сама себе волосы поправь, – обижался Андрейка. Я знал, что Анне хочется поцеловать его, но она почему-то стесняется меня. Анна покорно улыбалась сынишке, поправляла волосы, и мы шли домой.

Андрейка на ходу отряхивал Анне пальто: приседая, она пачкала его полы о землю. Когда мы переходили улицу, то брали Андрейку с обеих сторон за руки, и тогда мне казалось, что я держу за руку Анну.

Я ночевал у них в кухне на раскладушке. Подолгу не спалось. Я открывал форточку и курил. За окном шевелились облетевшие ветки лип. Из крана редкими каплями падала в раковину вода. Было слышно, как вздыхает во сне Анна и бормочет что-то Андрейка.

И однажды такой вот ночью я понял, что Анна дорога мне уже не только потому, что она жена Дмитрия, а просто тем, что она – Анна.

И я поторопился уехать. Мне казалось, что честность и долг перед памятью погибшего требуют этого. Я был уверен в том, что крепнущее во мне чувство к Анне оскорбит ее – женщину, которая была и будет верна Дмитрию.

Когда прощались, Анна обняла и поцеловала меня. Это был спокойный, благодарный поцелуй. Но он надолго запомнился мне.

– Будьте счастливы, – сказала Анна и, наверное, по привычке к Андрейке поправила шарф у меня на шее. – Я очень хочу вам этого. Вы с Димой... – Ее губы дрогнули и припухли. Андрей сопел и кусал крючок на ворота своего пальто.

Да. Вот так. А спустя два года Анна вышла замуж. Она написала мне большое письмо. Подробно рассказывала о муже, о том, что они давно знакомы и Аркадий Михайлович очень помог ей во время войны, в конце блокады, когда Андрейка уже совсем умирал.

Я ничего не ответил Анне. Все это произошло неожиданно быстро. И было мне тяжело и больно.

«Всего два года прошло, – думал я, – и вот вошел в ее жизнь другой человек». Еще немного – и Анна забудет Дмитрия. Быть может, сейчас она не любит мужа. Просто «устраивает» свою жизнь. Но новое материнство привяжет ее к нему. Она привыкнет к его рукам, к его заботам о ней. Она почувствует в нем ревность к ее прошлому. Почувствует, что ему неприятно упоминание об этом прошлом. И чтобы угодить мужу, чтобы не нарушать мира и спокойствия в семье, будет реже возвращаться к мыслям о Дмитрии. И мне уже стало казаться, что и ждала она его столько времени не из сильного чувства к нему, а из врожденной честности и по инерции, по привычке, что ли. Мелькнула мысль, что, может, к лучшему то, что он умер. Как бы встретила Анна безногого калеку? Сколько выдержала бы с ним?

Забрался я тогда в самую глушь. Работал на выездных научных станциях в Караге, Олюторке, Апуке. Любовь к камчатской дикости у меня в крови. В девятисотом году дед с сахалинской каторги бежал в Приамурье. С тех пор осели мы на Востоке.

Работы было невпроворот. Все рыбное хозяйство за время войны порушилось. Много тогда я работал, с азартом, со злостью.

А за Урал только этой весной выбрался. Послали в Ленинград в командировку. Большой это срок – семь лет, но многое там вспомнилось, в Ленинграде. Не сквозь дымку времен, не тускло, а как будто вчера все это было: война, Ханко, Дмитрий, то, как чадила у него на груди шинель, как Анна сказала, что ждала его, ждала до самого моего приезда. Я решил зайти к ней, упрекнуть за поспешность, с которой она начала новую жизнь.

Они живут теперь в Автово, в квартире мужа Анны.

На мой звонок, как и в тот мой приезд, двери открыл Андрейка. Правда, называть его так, пожалуй, уже не следовало: он сильно вырос, а ручищи у него стали побольше моих.

Андрейка не узнал меня. Но когда я кинул ему пальто так, как сделал это тогда, да еще сказал: «Смотри не упади. Не запутайся в полах!» – то он узнал меня и засмеялся.

– Здравствуйте, дядя Федя.

Девочка лет трех в синих длинных штанишках и красной кофточке встретила нас у порога комнаты.

– Это Леночка, – сказал Андрейка и подтолкнул ее ко мне.

Леночка долго смотрела на меня. Губы ее вдруг начали пухнуть. Совсем как у Анны, когда мы прощались. Она уцепилась за штанину Андрейки, всхлинула, заплакала.

– Она всех чужих боится, – смущенно объяснил он и принялся неуклюже и трогательно утешать сестру: – Ну чего ты? Ну скажи дяде «здравствуйте». – Но Леночка не захотела со мной здороваться.

И впервые я подумал, что мне не следовало приходить. Ну, если Анна забыла Дмитрия, то что может изменить мой приход? И что этот приход даст мне? Стало как-то нехорошо, неудобно.

В комнатах было уютно. Чувствовалось, что живут тут в достатке и поэтому могут тратить деньги на красивые вещи, дорогие книги.

Ни фотографий Дмитрия, ни других его следов не было видно.

Анна и Аркадий Михайлович еще не возвращались с работы. Я сидел, ждал их, и мне делалось все тяжелее и неудобней. Леночка по-прежнему дулась на меня, пряталась за стул и оттуда говорила: «Дядь-бяка, дядь-бяка». Андрейка хлопотал у телевизора и ни о чем меня не спрашивал. А когда я собрался с духом сам спросить его об отце, щелкнул замок и из передней загремело: «Андрюха, на выход!»

– Это папа, – сказал Андрейка и облегченно улыбнулся. Ему, видно, тоже было как-то не по себе. – Папа всегда так кричит, когда раньше мамы домой приходит.

– Андрюха, бандит, долго я тебя ждать буду?

Андрейка вышел. Леночка, топая туфельками и раскачивая бант и фонтанчик волос на затылке, побежала за ним.

– Кто сидит в нашей избушке? Кто повесил это пальто на вешалку? Чей тут русский дух? – басил за дверями Аркадий Михайлович, и я слышал, как он снимает галоши.

Потом все затихло. Только Леночка спрашивала: «Ты хорошо работал сегодня, папа? Папа, ты хорошо работал сегодня?»

Басистый голос очень подходил к внешнему облику Аркадия Михайловича, к его росту, широким плечам, грубоватому лицу и растрепанной шевелюре, которую он все пытался причесать и пригладить.

– Рад познакомиться с вами. – Он, сильно встряхнув, пожал мне руку, и приглаженные волосы опять рассыпались на его голове. Не отводя глаз от моего лица, Аркадий Михайлович подтянул к себе стул и сел. Дочка все не отставала от него, теребила за карман пиджака, спрашивала: «Ты сегодня как тигр работал, да, папа?»

Он дернул ее за бант, помедлил.

– Нет. Сегодня нет. Андрюха, забери-ка пигалицу к себе, в ту комнату.

Аркадий Михайлович говорил и держался просто. Был он уже далеко не молод.

– Значит, это вы – друг его отца? – Он кивнул вслед Андрейке.

– Нет. Просто встретились однажды. На фронте.

– Аня говорит, Андрей здорово похож на него. Как вы находите?

– Да. Нахожу.

– Я должен поблагодарить вас за заботу об Ане. За помощь ей.

– Ерунда, – перебил я. – Скажите лучше, как она сейчас?

– Все хорошо сейчас. Дети здоровы. На работе у нее тоже все в порядке. Словом, все нормально. – Он поправил галстук, сплел в замок пальцы и похрустел ими.

Быть может, из-за этого его жеста, быть может, из-за интонации, с которой он говорил, мне показалось, что за словами «все нормально» скрывается гордость его, Аркадия Михайловича, уверенность в том, что это он вернул Анне спокойствие, а может, даже и счастье. И я сказал то, что мне, наверное, не следовало говорить.

– Последние слова Дмитрия были об Анне. У него были ампутированы ноги. Гангрена. Он застрелил себя, чтобы не мешать мне, а самому не умереть в плену. Это один из самых сильных и честных людей, которых я встречал в жизни. Я не хочу, чтобы Анна забыла его. Понимаете, не хочу потому что... Потому что нельзя таких забывать...

Аркадий Михайлович сжал перекладину на спинке стула и низко нагнулся ко мне. Он был взволнован, но сдерживал себя, старался держаться спокойнее.

– Вы зря горячитесь. Хотя я и понимаю вас. Я и сам знал, что Дмитрий был настоящим человеком. Анна не могла так любить плохого. Сейчас она привязалась ко мне, может, она и любит меня. Да. Любит. Ладно об этом. Скажите, вы и Анне хотите рассказать все это... То, как он умер? Еще раз ударить ее?

Раздражение, которое вызывал у меня Аркадий Михайлович, теперь угасло. Я видел перед собой уже стареющего мужчину, с грубым и честным лицом. Взволнованного не за себя, а за Анну. Оберегающего ее покой.

– Не знаю, – сказал я.

– Не надо. Можете думать обо мне все, что вам угодно. Так много горя было у Ани. Зачем вам нужно видеть ее, напоминать обо всем этом опять? – Он прищурил покрасневшие глаза и, верно, досадуя на себя за слабость, тряхнул головой. – Я люблю Анну. Я понял все, что вы хотели сказать. Но она... Нужно ли...

Он все не мог найти нужного слова. Эта пауза была трудной для нас обоих.

– Анна скоро придет, Аркадий Михайлович?

– С минуты на минуту.

– Вы скажете Андрейке, чтобы он молчал?

– Андрюха любит мать. Он все поймет.

В передней Аркадий Михайлович помог мне одеться. Мы опять пожали друг другу руки.

На лестнице, как всегда весной, пахло сыростью. Перила были влажными.

Я спускался вниз и все не мог решить, правильно ли я делаю, что ухожу, не повидав Анну.

Наверху зачастили шаги. Кто-то быстро бежал по ступенькам и шумно спрыгивал на площадки. Это был Андрейка. Он догнал меня уже в подъезде. Пальто на нем было не застегнуто, кепка зажата в руке.

– Дядя Федя, обождите! – Он запыхался и часто облизывал губы. – Я слышал все...

Я провожу вас, можно?

– Конечно, идем... Андрей.

Темнело. Людей на улицах было мало. В окнах зданий зажигались первые огни.

Я сказал Андрейке, что очень боялся идти к ним. Боялся, что они совсем забыли отца.

Но, кажется, это не так. Правда, мне непонятно, почему он, Андрейка, ничего не спрашивал у меня о нем.

– Ты можешь объяснить это?

– Мама теперь плачет редко, – не отвечая на вопрос, сказал Андрейка. Он надел кепку. Потом снял опять. – А когда она говорит, что ей очень грустно, я хожу с ней вместе гулять. Просто так. По улицам. И ей от этого лучше. И мама говорит, что очень хорошо то, что я есть. То есть что я родился. Понимаете?

– Застегнись, простудишься, – пробормотал я. Ничего другого не приходило в голову.

Вот так все это кончилось. Недавно совсем – шестнадцать дней тому назад, в Ленинграде.

Я назвал этот рассказ «Без конца». Назвал его так потому, что верю: память о тех, кто погиб за Родину, конца не имеет.

1957

Последний рейс

1

Наконец сбылись мои давнишние мечты: я стал капитаном. Судно, доверенное мне, было маленьким – средний рыболовный траулер. Его еще называют «логгер». Четыреста лошадиных сил, тридцать два метра длины, семь миллиметров обшивки и всего шестнадцать человек команды.

Однако порученное нам дело было большим и трудным: провести это маленькое судно на Дальний Восток Северным морским путем.

Экипаж подобрался молодой, почти все комсомольцы. Только два человека старшего поколения: механик и помполит.

Команда тайком зовет механика «барабанщиком революции». Он стар, молчалив и очень запаслив в своем машинном хозяйстве. Помор. С детства в море. Только революция, Гражданская война и интервенция в свое время задерживали его на берегу. Тот, кто заставит его разговориться, – не пожалеет об этом.

Но сделать это трудно. Он хмур и любит ворчать только по поводу того, что капитан из-за молодости и неопытности слишком много раз меняет хода при швартовке, а это «куда ни есть» плохо для дизелей, да и немцы, мол (траулер построен в Германии), баллоны сжатого воздуха сделали нерасчетливо – того и гляди, воздуха на смену ходов не хватит...

Механик ворчал, как и многие старики. Но это мало беспокоило меня.

А вот помполит мне не нравился. Его прислали к нам на судно взамен веселого Пети Шумова – моего одногодка – недели за две до выхода из Архангельска в море. Причин этой замены я не знал.

Впервые мы встретились с Всеволодом Ивановичем (так звали нового помполита) на причале в Соломбале. Он сидел на штабеле досок, поставив ноги на маленький черный чемоданчик. Шагах в пяти позади него, на сучке засохшего тополя висела потрепанная флотская шинель.

Я подошел к нему вместе с инспектором из пароходства, представился. Он не вставая подал руку: «Значит, вместе поплывем, мастер?» И улыбнулся какой-то то ли смущенной, то ли виноватой улыбкой. Эта улыбка очень не шла к его лицу – худощавому, с глубокими морщинами на лбу и щеках, к его быстрому и цепкому рукопожатию.

Мне нужно было сказать, что не дело помполиту пользоваться жаргоном и называть капитана по-английски «мастер». Но делать замечание человеку, который в два с половиной раза старше тебя, – неудобно, и я только пожал плечами.

– Идемте на судно, Всеволод Иванович. Я представлю вас экипажу.

– Успеем насидеться на судне. А тут солнышко. – Он зажмурился, подставил лицо солнцу. – Хорошо! Слышишь, как тополя шумят?

Тополя на набережной действительно шумели, но мне было не до них. Считанные дни до выхода в море, множество дел: отчеты, ведомости, накладные, еще не принятый груз...

Ночью во время авральной погрузки я обходил судно. Весь экипаж был занят срочной работой. Помполита же на палубе не оказалось. Я спустился к нему в каюту. Он лежал и встретил меня своей виноватой улыбкой.

– Я думаю, вам надо быть на палубе, Всеволод Иванович, – сказал я, уже не пытаюсь скрывать недовольство.

– Ты прав, капитан, прав, – ответил он, но остался лежать. Мне показалось, что его лицо бледнее и мешки под глазами темнее и больше. «Неужели пьет?» – мелькнуло в голове.

– Сейчас... Иди – я встану. – Он откинул одеяло, приподнялся на локте.

– Вам нездоровится?

– Нет. Все в порядке, кэп. Просто давненько не плавал, отвык от порядков.

Я вышел с неприятным, тревожным чувством, что чего-то не знаю и не понимаю в нем. Уже через несколько минут он неторопливо расхаживал между людьми на палубе, заложив руки за спину, и шурился. Это была его привычка – шуриться, на что бы он ни смотрел, – будь то солнечные блики, скользящие по водяной ряби, или сумрачная глубина трюма.

2

Меня раздражало в помполите все. И то, что он много времени проводит у себя в каюте, и то, что даже при матросах называет меня «кэп», «мастер». И то, что он совсем не вмешивается в дела на судне, а только наблюдает все со стороны. Иногда казалось, что Всеволод Иванович просто плохо знает морское дело и боится обнаружить это перед людьми.

Как-то, из-за аварии с дизель-динамо, на судне погас свет. Я пошел в машинное отделение. Всеволод Иванович уже был там. Он, по своему обыкновению, молчал и шурился, глядя на то, как молодой матрос, вахтенный моторист Цехидзе, при свете аварийного освещения мечется около динамо. И все время, пока Цехидзе, бестолково суетясь, искал поломку, Всеволод Иванович только шурился и молчал. Лишь когда динамо уже загудело, набирая обороты, я услышал голос помполита.

– Дорогой, – говорил он мотористу, – ведь ты боцману в шахматишки проигрываешь только потому, что так вот суетишься да мечешься, как сейчас. Думать надо, а не ногами под столом сучить. И тогда все партии твои будут... – Он ушел, а Цехидзе долго комкал в руках масляную тряпку, потом бросил ее, улыбнулся и потер подбородок, испачкав его маслом.

Прошло больше недели с тех пор, как Всеволод Иванович поселился на судне, но за все это время он не провел ни одной политинформации. Пришлось сказать ему об этом.

– Ты прав, капитан, прав. Сегодня вечером проведем.

Вечером я вышел на палубу – я уже знал, что он не любит собирать людей в тесной кают-компании логгера.

Мы стояли на рейде у Черной башни. Это при входе в Северную Двину, у острова Мудьюг. Был тихий, по-северному ясный летний вечер. Весело кудрявились заросли кустарников на острове. Ровная чистая полоска песка отделяла их зелень от воды. Слабо плескала волна у низкого борта логгера.

Дымя и гудя, с моря подходил английский пароход. Пароход шел в Архангельск, и красное полотнище советского флага уже полыхало на его фок-мачте. Это старинный морской закон: при входе в иностранный порт корабли поднимают на мачте флаг того государства, которому принадлежит порт.

Лоцманский катерок, постреливая мотором, спешил навстречу гостю.

Дневные работы окончены. Как всегда по вечерам, прихватив с собою домино, на палубе собираются свободные от вахт матросы.

Механик, кряхтя, вылезает из машинного капа и садится около лебедки. Помполита на палубе нет. Карт и других признаков готовящейся политинформации тоже не видно. Механик достает из кармана кителя замусоленную записную книжку, вынимает из нее очки в железной оправе и нацепляет их на нос. Подумав, он опять прячет очки в записную книжку и беспомощно оглядывается. Судя по всему, механик чем-то серьезно озабочен.

– Что с вами, Алексей Никитич? – спрашиваю я.

– Что со мной, что со мной. Ничего со мной – вот что, – говорит он скороговоркой и облегченно вздыхает: из люка показывается бледное лицо помполита.

Он жует что-то. Вернее, не что-то, а сухарь. Эта его привычка тоже кажется мне неприятной. За обедом и ужином он едва притрагивается к еде, а потом – вот так, жует сухарь.

Они усаживаются рядом. Помполит долго провожает глазами темную махину английского парохода.

– Так, значит, отсюда ваших барачников не видно? – Он спрашивает механика так, будто продолжает недавно прерванный разговор.

– Нет, за мыском они, направо, – ворчливо, но уже спокойно отзывается тот.

– Тебя здесь высаживали? – помполит кивает на берег Мудьюга.

– Нет. Баржу они с другой стороны подвели. От волны, значит, прятали. Саксы – это народ осторожный...

– Да, англичане – в морских вопросах народ грамотный, – соглашается помполит и протягивает механику портсигар. – Ну-ка расскажи, как эти саксы тут на Мудьюге вас перевоспитывали в девятнадцатом, а?

Механик снимает с головы фуражку и насаживает ее на колено. Сквозь короткий седой ежик просвечивает розоватая лысина.

– Ха! Перевоспитывали! Ты меня, давай-ка, не подзуживай. Хватит меня подзуживать. Скажи лучше, чтобы ребята брезент на трюмах ногами не пачкали и козлом этим так не стучали. У меня глотка-то не луженая.

Толкаясь и перешучиваясь, матросы отвоевывают себе места на лебедке. Стармех, поругивая то одного, то другого, начинает рассказ об интервенции, о домике пыток на Мудьюге, о памятнике погибшим. Помполит курит, сплевывает за борт. Потом подходит ко мне.

– Капитан, если разрешишь спустить шлюпку, то старик сходит с матросами на остров. Покажет им, где и что, а?

Я разрешаю.

Поздним вечером они возвращаются. Еще издали слышен плеск весел, песня: «Штормовать в далеком море посылает нас страна». Матросы немного переиначили слова песни. Через сутки мы будем в море. Не обойдется и без штормов. Об этом они и поют сейчас.

3

Мы очень удачно, почти не встречая льдов, дошли до Диксона.

В последних числах июля весь караван – шесть таких же, как мой логгер, рыболовных судов – во главе с ледоколом «Ермак» двинулся дальше, к проливу Вилькицкого. Проход в архипелаге Норденшельда, через который обычно ходят корабли, был забит многолетним тяжелым льдом, и мы обходили архипелаг с норда. У острова Макарова слабые ветры южных четвертей неожиданно сменились на крепкий северо-западный. Этот ветер, быстро усиливаясь, гнал к берегам Таймыра льды средней части Карского моря. Пролив Вилькицкого уже был заперт ими.

Мы оказались между молотом надвигающихся льдов и наковальной скалистых островов Норденшельда. Возвращаться было поздно. Ветер достиг силы шторма. Быстро падала ртуть в термометре, сигнализируя о приближении ледовой кромки. Потом свинцовые низкие тучи с рваными краями закрыли северную половину горизонта.

«Ермак» оставил караван штормовать в открытом море, а сам ушел искать убежище в островах пролива Ленина. Пролив, как и весь архипелаг, был плотно закрыт льдом, и ледоколу приходилось трудно.

Уже больше суток мы дрались со штормом, когда первые льдины, ныряя в волнах, показали с севера.

Я был измотан многими бессонными ночами и тем нервным напряжением, которое, вероятно, бывает у всех молодых капитанов в их первом рейсе; а самое тяжелое наступало только теперь.

Мы метались между льдин. Волны сшибали их друг с другом. Обломки, как живые, вертелись в кипящей воде. В грохоте и реве не было слышно корабельных машин.

В довершение всего стала замерзать смазка рулевого привода. Два матроса едва проворачивают штурвал. Не успев вовремя отвернуть, мы сталкиваемся со льдиной. Удар не очень сильный, но семь миллиметров обшивки – слабая защита. Я приказываю штурману пройти в нос и проверить форпик и первый трюм. Волны сплошным накатом идут через палубу, крен до сорока градусов, и пройти будет трудно и опасно.

Штурман не успевает спуститься. Две согнувшиеся фигуры уже появились на палубе. Скользя и падая, они пробираются к полубаку. Очередная волна вздыбливается над бортом. Высоко над форштевнем взлетает столб из пены и брызг. Сую в рот свисток и свищу изо всех сил. Один оглядывается, сильно подталкивает в спину другого, но сам спотыкается и катится по накренившейся палубе к борту. Тот, кого он подтолкнул, влетает в приоткрывшуюся дверь носового капа.

Волна рушится на судно. Долго ничего не разобрать среди пены на палубе. Наконец видно человека. Он вцепился в стойку фальшборта. Это Всеволод Иванович.

Кто-то выскакивает из носового капа. Помогает помполиту добраться к надстройке.

Я чертыхаюсь: совершенно незачем помполиту лезть самому в такую передрагу. Для этого есть боцман, штурмана, наконец.

Вообще, после того как начался шторм, Всеволод Иванович уже сутки не спускался к себе в каюту.

Докладывают, что форпик затоплен. В первом трюме воды нет. Радирую капитану ледокола о положении на судне. «Ермак» отвечает, что надо продержаться еще несколько часов. Дело скверно. Матросы у штурвала скинули ватники, работают в одних тельняшках.

Маневрировать, уклоняясь от льдин, делается все труднее. Чувствую, как во мне начинает что-то отвратительно дрожать.

Всеволод Иванович появляется в рубке. Его фуражка под капюшоном плаща совсем размокла и сдвинута на затылок. Глаза щурятся больше обычного. Лицо бледно, сосредоточенно.

Он облокачивается на ящик с сигнальными флагами; широко расставляет ноги.

В стекла рубки барабанят брызги. Ветер гудит и свистит в снастях, в вентиляторах. Караван разбросало. Кораблей не видно. Только справа по носу далеко-далеко то появляется, то пропадает черная точка – один из логгеров.

– Как чувствуете себя? – кричу я помполиту. – Сильно ударило?

Он отвечает что-то совсем невнятное и морщится.

– Идите вниз, лягте.

– Плохое небо, – Всеволод Иванович показывает на север, на белые полосы в темных тучах – отблески ледяных полей. – Густые льды идут.

Несколько минут молча стоим плечом к плечу у рубочного окна.

– Люди работают прекрасно, капитан. – Я угадываю это по его губам, но кивнуть не успеваю: слева по борту, пересекая наш курс, как броненосец расплющивая волны, несется льдина.

– Право на борт! – команду я.

– Самый полный вперед, капитан! – кричит мне в ухо помполит. В ту же секунду понимаю, что это именно то, что нужно сейчас. Рывком опускаю вперед до самого упора рукоятки машинного телеграфа.

– Спокойнее, капитан, порвешь цепочку. – Бескровные губы Всеволода Ивановича кричатся в знакомую, чуть виноватую усмешку.

Льдина проходит по корме. Обламывая спички, закурываю отсыревшую папиросу.

– Спасибо, Всеволод Иванович.

– Трудный твой первый рейс, кэп.

– Да.

– Для меня это последний. – Всеволод Иванович сдвигает фуражку на самые глаза. – Спасибо за то, что не выгнал меня в Архангельске или Диксоне.

– С чего вы это?

– На кой черт дохлятина на корабле?

– Побольше бы такой дохлятины.

– Брось, кэп. Слушай, я виноват – плохой из меня помполит. Прости... – Он не договорил, махнул рукой и, сгорбившись, выбрался из рубки.

Право! Больше право! Лево! Больше лево! Вперед полный! Стоп! Средний назад!

Одна за другой катятся на судно волны, тащат на себе зеленоватые льдины. Голова кружится от мелькания этих волн, льдин, брызг.

К вечеру под конвоем «Ермака» входим в пролив Ленина и становимся на якорь в хорошо укрытой от ветра и льда бухте. Все суда каравана уже здесь. Вид у них не лучше нашего. Ржавые вмятины в бортах и обледенелые снасти быстро состарили корабли. «Ермак», презирая шторм, уходит обратно к Диксону за другой партией судов.

Дальше нас поведет линейный ледокол «Молотов». Он сейчас в море Лаптевых и отделен от нашего каравана ледовой пробкой в проливе Вилькицкого.

Пользуясь передышкой, меняем смазку в рулевой передаче. Потом заводим под пробойну пластырь, откачиваем из форпика воду и окончательно, уже цементом, заделываем пробойну. Погода все еще плохая. Снег, смешанный с дождем, временами совсем скрывает скалистые берега и соседние корабли. Такое чувство, будто мы одни во всем мире.

Разрешаю команде отдыхать. Сам, едва добравшись до койки, не раздеваясь, валяюсь на нее и засыпаю.

Около четырех ночи меня будит механик. Он без кителя, рубашка не застегнута.

– Плохо, капитан! Куда ни есть плохо с Всеволод Иванычем!

Ничего толком не понимая, бегом спускаюсь вниз. Всеволод Иванович лежит. Голова запрокинута, изо рта тянется на подушку струйка крови.

– Не поднимай шум, капитан... Через два, три часа — амба. – Он скрипит зубами и валится навзничь. – Прости... Тяжелый рейс.

Тяжелый рейс! Двое суток в машине, то на палубе, то рядом со мною. Черт, до чего я бессилён! Бинты, аспирин, йод, ящик витаминов, что все это ему? Нет врача! Врач – на ледоколе, но ледокол в сутках пути от нас.

«Обыкновенная Арктика» Бориса Горбатова в этот момент вспомнилась мне. Я бросился в радиорубку. Диксон, Хатанга, Нордвик, Тикси... Дробь морзянки, напряженное лицо радиста, топот ног по кораблю... Но кто полетит навстречу собственной смерти? Штормовой ветер, снежные заряды, туман...

Хатанга запрашивает погоду. Потом долго молчит эфир и вдруг наполняется сумасшедшей россыпью точек и тире. Корявые буквы летят по бумаге из-под руки радиста: «Кораблям каравана приготовиться... освободить... бухту... выходит... самолет».

Замечаю время. Оповещаю капитанов судов. Им предстоит опять вернуться в штормовое море. Здесь, в бухте, корабли будут мешать посадке самолета.

Спускаюсь в каюту помполита. Он в сознании, но боль мешает ему говорить:

– Не успеют... Зря это... Все равно не успеют...

Он вдруг дергается ко мне.

– А люди уже знают? Как с народом будешь... с кораблем...

Он хорошо знал свой диагноз и мучился тем, что оставляет судно на такого молодого капитана, как я. А может, его мучило то, что смерть на корабле всегда тяжело действует на людей экипажа.

– Да молчи ты, молчи, Всеволод Иванович.

Но он все говорит что-то о плохих ледовых прогнозах, о многих тысячах миль впереди, о том, что я молод, но был прав, когда ругал его.

– Плохой из меня помполит... – Всеволод Иванович комкает простыню, капли пота выступают на лбу. – Не умел я, не мое это дело, кэп.

– Да не волнуйся ты, не волнуйся, Всеволод Иванович.

– В Охотском, когда будете... волна крутая... в шторм бейдевинд, бейдевинд¹ держи.

4

Связь с самолетом была плохая. Часто она прерывалась сов-сем, но мы уже знали, что машину ведут добровольцы: пилот Сухов, бортмеханик Охлопцев. На борту врач-хирург Потапенко.

Самолет наискось пересекает Таймырский полуостров, и вариант вынужденной посадки для них среди хаоса таймырских ледников и скал исключается, – «поэтому ждите: прилетим наверняка».

Больной часто теряет сознание. Приходя в себя, просит не хоронить его в море.

– Хоронить, хоронить. Нигде мы тебя хоронить не будем, – ворчит механик. – Терпи. Летят там ребята. Скоро будут уже. Доктор летит. Терпи.

Хлюпают за тонким бортом волны. Ветер брызгами и снегом бьет в иллюминатор. Всеволод Иванович опять теряет сознание.

По-морски скупое, с большими паузами рассказывает мне механик о помполите:

– Он капитаном плавал, когда ты еще в первый класс бегал. Вот. Одинокий он... Семья в войну погибла. Сам после ранения болеть начал. Вахты капитанские не под силу стали. Четыре года на берегу пенсионером жил. Не выдержал. Море, оно тянет. – Старик долго сидит молча, низко свесив голову, крепко потирая ладонью подбородок и щеки. Скрипит под его рукой седая, давно не бритая щетина. – Ну, и упросил, чтоб помполитом взяли. Помполиту вахты стоять не надо. К тебе его назначили, потому – молодой ты еще. Чтобы присматривать за тобой, значит. Кроме моря да нас вот всех – нет у него никого.

С самолета сообщают, что пролетают береговую черту. Барахлит правый мотор. Идут на большой высоте. Сильная болтанка.

Выхожу на палубу и сам даю красную ракету. По этому сигналу снимаются с якорей и направляются из бухты в штормовое море корабли нашего каравана.

Один за другим проходят они мимо моего логгера.

Сигнальные флаги на их мачтах мечутся под порывами ветра:

«Желаем благополучия».

Последний траулер, круто поворачивая, скрывается за береговым мысом. Пусто в бухте.

Весь экипаж судна вылез на палубу.

Люди курят, смотрят на низкие, стремительные тучи.

Томительно тянутся минуты. Наконец бесшумно вываливается из туч машина и сразу идет на посадку.

Мы ожидаем конца операции у меня в каюте. Мы – это пилот и я.

Пилот устал. Он сидит, закрыв глаза. Туго обвязанный жгутами вен кулак лежит на столе. Потухшая папироса торчит из кулака...

¹ Бейдевинд – положение судна относительно ветра.

5

По тому, как медленно вошел в каюту хирург, как швырнул в умывальник перчатки, я понял, что Всеволод Иванович умер.

– Давнее осколочное ранение желудка, сильное физическое перенапряжение, прободение, – хрипло сказал хирург. – Было ясно, что уже поздно. Но не для того я летел сюда, чтобы испугаться и не оперировать. Еще один прибавился к тяжелому для меня списку. Я сделал все, но поздно...

– Кончайте, доктор, – негромко сказал летчик и встал. – Ведь все это неважно теперь.

Кают-компания была полна людьми. По традиции я покрыл тело помполита государственным флагом Союза. Лицо помполита было сейчас таким, каким я увидел его в грохоте ледового шторма – сосредоточенным и суровым.

Через сутки мы хоронили Всеволода Ивановича на берегу одного из островов в проливе Ленина.

Ветер внезапно стих – так часто бывает в Арктике. Прояснило. Ледники на склонах гор засверкали под солнцем. У прибрежных голышей качались вельботы.

Тишину замерзших скал нарушил залп. Громыкнуло эхо. Ударили по камням стреляные гильзы. Метнулся по бухте самолет, взмыл в голубой простор над нами. Оглушая гулом, снизился, покачал крыльями и ушел на юг.

1957

СКВОЗНЯК

Стена тонкая, и Леонид Львович слышит каждый звук из комнаты, в которой теперь живут Кузнецовы.

– Вот слушай, мама. На дворе гуляло сто гусей. Сколько у этих гусей ног?

Это голос Пети, старшего из братьев Кузнецовых. Младшего зовут Митя. Братьям в сумме двадцать лет. Головы у них круглые, с одинаковыми вихрами. Такие вихры в просторечии называются «коровьим зализом». У Пети вихор на макушке, а у Мити – надо лбом. Часто рука Натальи Яковлевны, их мамы, использует эти вихры как проводники, по которым лучше всего проникают в головы сыновей всякие «нельзя», «не надо», «не шуми» и «не смей». В такие моменты за стеной слышно сопение и крик того из братьев, который не подвергается экзекуции: «Отпусти его, мама!»

Сейчас за стеной полный мир.

– Так сколько ног, а, мама?

– Сколько ног? – В голосе Натальи Яковлевны звучит неуверенность. Она, очевидно, чувствует какой-то подвох.

– Да, ног, – как эхо подтверждает Митя.

– Так вы говорите, сто гусей?

– Да, сто, – в один голос, в один вздох говорят братья.

– Ну, значит... ммм... умножить надо на... два, – осторожно говорит Наталья Яковлевна.

– Вот и нет! – кричит Митя.

– Эх, ты, – с жалостью в голосе разъясняет Петя. – У них нуль ног. Разве у гусей бывают ноги? У них лапы...

«В сущности, какие ограниченные дети, – вяло думает Леонид Львович. – Чему их только учат в школе?» Он поворачивается на спину и глубоко вздыхает. Что-то коротко, но сильно колет сердце. Леонид Львович привычно закусывает губы.

Серая пыль зимних сумерек плотно заполняет комнату. Эта пыль давно потушила блики на корешках книг. Теперь даже никелированные шарики у кровати перестают блестеть.

Тяжелые времена переживает Леонид Львович. Несчастья слетаются к нему, как слетаются на одинокие деревья стаи черных грачей. Все началось с отъезда дочери. Зиночка пришла как-то и сказала просто, что любит одного человека. Леонид Львович тогда еще не потерял чувства юмора. Он сказал, что это хорошо, что одного, а не многих. Зиночка почему-то не улыбнулась. Да, она любит одного человека. Человек этот теперь живет и работает в Казахстане, и через неделю она должна уехать к нему. Она будет работать вместе с мужем, будет сажать хлеб...

– Сеять, – уже машинально поправил Леонид Львович и снял очки. Зиночка вспыхнула и обняла его. Мягкие пальчики коснулись седых колючек на подбородке, и Леонид Львович почувствовал, как прижгла ему веки стариковская слеза. Зиночка была единственным родным человеком. Жена умерла давно...

– Папочка, не сердись на меня. Прости, папочка. Все так получилось... Он пишет, что не может больше без меня. Вот. А ты будешь летом приезжать к нам. Или... может, поедешь сразу? Со мной?

Леонид Львович отказался. Куда ему из города, в котором он родился и прожил все свои шестьдесят шесть лет? К тому же он знает: старость часто мешает молодости...

После отъезда Зиночки Леонид Львович совсем сник. Работать он почти не мог – ослабли глаза. Дочь больше не нуждалась в нем... Мысли о смерти, которой он очень боялся, приходили все чаще и чаще.

Теперь, сидя над книгой или рукописью, он то и дело задумывался. О чем? Он никогда не мог вспомнить этого. Он даже не знал, по сколько времени проводит в таком, похожем на забытие, состоянии, но уже высохшая чернильная клякса на бумаге или смятая страница говорили о том, что он долго просиживал так, опустив руки.

Прасковья Федоровна – женщина, которая приходила готовить обед и убирать комнату, – все вздыхала, глядя на него, а однажды принесла какие-то пилюли и положила их на стол под ноги бронзового коня, запряженного в чернильницу.

Леонид Львович усмехнулся, увидев пилюли, да так и застыл с этой усмешкой на губах. Тогда Прасковья Федоровна пустила к нему в кабинет Хаямину. Хаямина – старая, исключительной кривоногости такса – была названа так в честь древнего персидского поэта Хаяма, библиографию которого когда-то составил Леонид Львович.

Такса, заноса в сторону длинный зад и стуча когтями по паркету, перебежала комнату и села у ног хозяина. Леонид Львович очнулся, чуть вздрогнул.

– А-а, собака, – сказал он и, с трудом нагнувшись, погладил теплый затылок Хаямины.

Письма из Казахстана приходили короткие, но были так густо наполнены Зиначкиным счастьем, что Леонид Львович мог не волноваться за нее.

Правда, ни волноваться, ни радоваться так, как это было прежде, он уже не умел. Безразличие – спутник одинокой старости – охватило его. Поэтому и вселение в Зиначкину комнату Кузнецовых тронуло его только потому, что он понял: Зиначка действительно больше никогда не вернется сюда...

Экзамен за стенкой продолжается.

– Петька, спроси маму о разбойнике и костях, – оглушительно кричит Митя.

– Ну, хорошо, – голос Пети звучит снисходительно. – Значит, так. Ну, слушай же, мама! Поймали разбойника и посадили его в тюрьму. Он там сидел... десять лет! Все это время ему давали есть хлеб... сухой. А когда разбойник вышел из тюрьмы, он унес целый мешок костей. Откуда у него появились кости?

– Да, откуда у него кости? – тихо повторяет младший брат.

– Да это его собственные, наверное, кости, – говорит нетерпеливо Наталья Яковлевна, явно для того только, чтобы отвязаться от сыновей.

– Ну как же это может быть? – искренне недоумевает Митя.

– А еще большая, – презрительно тянет Петя. – Ведь он с ухой хлеб ел, а в ухе всегда кости. Вот он и набрал их целый мешок.

Леонид Львович берет со столика у изголовья постели бутылочку с нитроглицерином и лижет пробку. С сердцем день ото дня делается все хуже. Скоро две недели, как он не встает с кровати. Тусклым и далеким кажется ему сейчас все. Даже Зиначка. Она где-то там, в том мире, из которого доносятся эти мешающие ему голоса. Он устал. Глубокая слабость владеет им. Зачем он лижет эту пакость? Как все глупо. Зачем?

Когда Кузнецовы только въезжали в квартиру, Леонид Львович еще бодрился. Каждый день выходил гулять. Два-три часа работал над своими библиографиями. Читал газету. Мальчишки его немного боялись. Поселившись на новом месте, они в первый вечер долго рассматривали Леонида Львовича в приоткрытую дверь. Леонид Львович сидел за столом и читал. Хаямина, поглядывая на дверь, временами ворчала, но оставалась лежать, уткнув нос в его ботинок. Глаза Леонида Львовича за стеклами очков казались большими, темными и страшными. Над глазами серо-желтыми неровными пучками торчали брови, похожие на прошлогоднюю травку.

– Они у него вбок растут, да, Петь? – спросил о бровях Митя.

– Не вбок, а вперед, – поправил Петя. – Так у всех, кто уже старый.

Седая борода и усы были тоже клочкастыми, но густыми, зато голова до самого затылка оставалась голой, и ясный зайчик от настольной лампы свободно бродил по ней. На затылке

у Леонида Львовича курчавились сивые волосы, спускаясь низко по шее. Когда он откидывал голову назад, кончики этих волос налезали на бархатный воротник домашней куртки. Сидел Леонид Львович очень прямо. Петька где-то слышал, что так сидеть заставляли в старых гимназиях.

Как выяснилось потом, на улице Леонид Львович всегда выходил с палкой. Палка была черная, лакированная и с ручкой, напоминающей рукоятку от пистолета-пулемета.

Пока мальчишки рассматривали Леонида Львовича, он вдруг перестал читать и о чем-то задумался. Он думал так долго, что мальчишкам стало скучно, и они осторожно прикрыли дверь.

А через несколько дней у Леонида Львовича случился сердечный приступ, и он слег.

Братья Кузнецовы успели уже многое повидать на своем веку. Их отец был военным, а военные недолго задерживаются на одном месте. Братья жили в Омске, Корсакове-на-Сахалине, Мурманске. Везде после очередного переселения они быстро завоевывали себе почет и уважение среди дворовых старожилов. В Омске Пете пришлось ради этого влезать на второй этаж по водосточной трубе. Митя тогда еще не мог вытворять подобное из-за своего малого возраста. В Корсакове братья уже вместе спрятались между сетей на кавасаки и, к зависти ребят чуть ли не всего Анивского побережья, удрали с рыбаками в море. Наталья Яковлевна сутки бегала по причалам, не выпуская из рук лаконичной записки, которую ей оставили сыновья: «Мама, мы ушли в море на кавасаки. Не волнуйся. Петя, Митя. Пожалуйста».

В Мурманске нравы были суровее, и для утверждения своего авторитета братьям пришлось принять участие в нескольких драках.

В Ленинграде проверка моральных и физических качеств братьев Кузнецовых должна была состояться в большой междомовой войне. Об этом при первой же встрече объявил Пете белобрысый Генка Сидорчук из девятнадцатой квартиры. Генка сидел на косоугольной тумбе у подворотни и поигрывал медной биткой. Одно ухо его шапки было наполовину оторвано и понуро висело. Другое торчало вверх и чуть шевелилось под ветерком. Генка из девятнадцатой был предводителем их двора, и Петька уже знал это от других ребят. Предводитель презрительно посмотрел на Петю светлыми глазами и процедил:

– Ты! Учти, – днями будем с пятым домом дело иметь. Чтобы ты и тот пацан, что брат твой, были. Понял?

– Понял, – угрюмо буркнул Петя. Ему не понравилось высокомерие Генки, хотя такое обращение с вновь прибывшими и было обычным.

Братья быстро выяснили, что пятый дом проходной, что через него идет кратчайший путь к школе, в которой им предстоит учиться, но что пользоваться этим путем весьма опасно. Корни междомовой вражды давно канули в Лету – никто не помнил о них, но стороны систематически обижали одиночек. Недавно мальчишки из пятого дома разбили нос девочке, которая жила на той лестнице, где теперь поселились братья. Это было неслыханно! Можно, а иногда и должно, оттаскать какую-нибудь ябедницу-плаксу за косу или вмазать ей снежок за воротник пальто. Но побить маленькую девочку – это совсем подло. Теперь уже не в мелких стычках, а в генеральном столкновении должны были разрешиться вопросы чести и справедливости.

День битвы, пользуясь болезнью Леонида Львовича, Митя начал с того, что выкрал и спрятал его палку – уж больно велико было ее сходство с огнестрельным оружием. Петя не занимался такими глупостями. Он пришивал к шапке ремешок, ибо знал, что в пылу боя можно остаться без нее. Наталья Яковлевна с интересом поглядывала на это его занятие, пытаясь догадаться, что бы могла означать такая самостоятельность ее сына. Но Петя с момента последней трепки, полученной за то, что он прикрепил к ушам Хаямины материнские бигуди, хранил на своем лице такое выражение, будто он навсегда осознал вред всякого озорства. Однако какое-то смутное беспокойство закралось в материнское сердце. Беспокойство усилилось, когда Ната-

ля Яковлевна заметила, что Митя с озабоченным лицом время от времени ходит в кухню и смотрит в окно. Окно выходило во двор, а это место подозрительно для всех мам мира.

Если бы Наталья Яковлевна знала, о чем в последние дни говорят мальчишки, когда ее нет в комнате, она бы полностью и надолго потеряла покой. Но так как разговоры о разбойниках из пятого дома мог слышать только Леонид Львович, братьям удалось улизнуть на улицу.

Часа через полтора, уже в разгар войны, Петя и Митя в составе отряда партизан пробрались по переулку к задам пятого дома. Им предстояло перелезть через стену и по крышам дровяных сараев зайти в тыл к неприятелю, а потом ударить по нему так, как ударили наши в «Александре Невском» по псам рыцарям. От успеха этой операции зависел результат боя, и партизаны спешили. Митя с палкой Леонида Львовича напер вес одним из первых огибал последний угол, когда удивительно знакомая рука поймала его за воротник. Наталья Яковлевна полностью использовала фактор внезапности. Через секунду и Петин воротник также оказался в ее руке, а еще через несколько минут братья одновременно перелетели через порог своего жилища. Теперь Наталья Яковлевна смогла говорить, – до этого она зловеще молчала. Вернее, она теперь не говорила, а кричала:

– Нет, я больше не буду терпеть! У тебя пальто куплено месяц назад и уже разорвано! А ты – весь в известке! Нет, я не позволю заколачивать гвоздь за гвоздем в крышку моего гроба... За что? За что такое наказание? Украли палку у больного, старого человека! – Наталья Яковлевна плакала. Митя плакал тоже и все рвался к дверям. Петя не плакал – ему было уже одиннадцать лет.

– Пусти нас, мама, – сказал он твердо. – Мы должны быть там, где сейчас все наши. Это не просто драка, мама. Это справедливая война...

– Не смей болтать глупости, паршивый мальчишка! – уже истерично крикнула Наталья Яковлевна.

– Хорошо, – сказал Петя и стал медленно снимать пальто. – Ты делаешь нас предателями, и вся ответственность за это падает на твою голову. Вот. Ты будешь мать предателей.

Теперь его голос дрожал от горечи, но он все равно не плакал.

Кто знает, может быть, в сердце Натальи Яковлевны что-нибудь и дрогнуло после этих Петиных слов, но она еще строже заявила, что они не будут гулять одни, не будут гулять во дворе. Она сама будет ходить гулять с ними. И вообще – хватит! Она считает разговор оконченным и уходит.

Леонид Львович лежал на спине, вытянув поверх одеяла сухие руки с давно не стриженными ногтями, и болезненно морщился. Шум и крики раздражали его. Потом он услышал щелчок задвижки – братьев заперли, и за Натальей Яковлевной хлопнула дверь на лестницу. После этого все смолкло. Квартиру затопила тишина – густая и плотная, как осенняя вода. Леониду Львовичу почему-то пришло в голову, что в такой тишине, наверное, лежат утонувшие пароходы...

– Петь, давай дверь выломаем, а?

– Дурак ты. Вот что.

– А если в форточку?

– Малявка ты. Четвертый этаж!

Наступила пауза.

– Теперь здесь нас все презирать будут, – задумчиво сказал за стеной Петя.

– И колотить будут, – еле слышно отозвался Митя.

Леонид Львович понял, что встает, когда его костлявые большие ступни коснулись пола. Левую руку он крепко прижал к сердцу, будто хотел его удержать. Правой рукой неловко накинул на плечи одеяло. Потом немного постоял, закрыв глаза, перевел дыхание и двинулся из комнаты.

Хаямина вылезла из-под кровати и, стуча хвостом по всему, что попадалось на пути, пошла за ним.

Первым услышал шорох у двери Митя. Он тыльной стороной ладони вытер слезы, дернул за руку Петю и уставился на дверь.

Задвижка щелкнула, и дверь приоткрылась. Волосы у братьев встали дыбом – таким белым было лицо Леонида Львовича.

– Идите, – прохрипел он. – Идите. И будьте... всегда...

– Спасибо, деда Леня! – заорал Петька, не слушая дальше.

– Спасибо, деда Леня! – донеслось еще раз, уже с площадки лестницы.

Хаямина сделала несколько быстрых шагов за мальчишками, но остановилась, обернулась на Леонида Львовича и виновато вильнула хвостом.

Квартиру опять заполнила тишина, но братья, конечно, не закрыли двери, и морозный сквозняк доносил с улицы приглушенные гудки машин и дальний перезвон трамваев.

1957

Путь к причалу

*Без спасения – нет вознаграждения
(Из «Морского права»)*

1

На «Полоцке» было четверо добровольцев: Росомаха – боцман со спасательного судна «Кола», двое рулевых и моторист.

«Полоцк» шатался на волнах и окунал нос в воду при каждом рывке буксирного троса. Его помятые шпангоуты обтягивала ржавая обшивка. По трюмам плескалась вонючая жижа.

Когда-то немецкая бомба угодила «Полоцку» в машинное отделение. Команду сняли, а искалеченное судно выкинуло на пустынный берег Новой Земли. И «Полоцк» пролежал там многие годы. Зимой его заносила снегом пурга, и любопытные медведи лазали по матросским кубрикам. Летом крикливые полярные чайки садились отдыхать на перекошенных реях и ослабших тросах такелажа.

За эти годы «Полоцк» глубоко вдавил свою тяжелую, острую грудь в прибрежную гальку. Людям пришлось повозиться, пока они стащили его с мели, залатали пробойны, заварили трещины в обшивке.

Теперь «Полоцк» бредет на буксире у спасательного судна, чтобы в Мурманске стать к своему последнему причалу, от которого пути не будет никуда. Впрочем – будет: автоген расчленит металл, куски «Полоцка» погрузят на платформы, а потом переплавка – новое рождение в огне. Для этого и возились люди, снимая с мели судно, для этого и вели через беспокойное Баренцево море.

«Полоцк» вихлял и упирался, но стальной буксирный трос крепко держал его за чугунные ноздри клюзов.

Росомаха, волею судеб ставший на «Полоцке» кем-то вроде капитана, сидел на бочке из-под кислой капусты в кормовой надстройке, возле единственного уцелевшего окна. Боцман собственноручно принайтвил бочку к палубе и был убежден – как бы ни разгуливалась погода, сиденье для него обеспечено до самого Мурманска.

В надстройке было холодно, сыро и неудобно.

Время от времени Росомаха пускал папиросный дым себе за пазуху и наблюдал, как он потом выбирается из рукавов. Теплее от дыма не становилось, но в таком занятии было что-то успокаивающее. А состояние, в котором Росомаха пребывал весь последний рейс, было необычным, тревожным. Боцман ждал встречи с сыном. Уже три месяца он жил этой встречей, часто представлял себе, как они сядут друг против друга за столиком в пивной, как он нальет сыну и себе, а вокруг, в табачном дыму, будут шуметь и ругаться люди, но он и сын будут совсем одни среди этих людей, потому что они – отец и сын.

У них будет трудный разговор. Так много нужно объяснить. Но ничего, он найдет правильные слова. Он скажет, что Марии больше никогда не придется работать. До самой смерти. А если первым умрет он, Росомаха, Мария получит хорошую пенсию. Недаром же он проплавал сорок лет. За него дадут хорошую пенсию.

Сын нахмурится. Может, он станет бить своего непутевого отца молчанием или тяжелыми словами обиды и горечи. Тогда Росомаха, который никому никогда не позволял говорить про себя тяжелые слова, будет терпеливо слушать, потому что любит своего Андрея, хотя еще никогда и не видел его. И только потом покажет свои ладони, тысячи раз ободранные шершавыми вальками весел, резанные шкочами, обожженные в хлорной извести судовых гальюнов.

И расскажет про начало своей жизни. Как умер отец – помор и рыбак, – утащенный под воду сетью. Как девяти лет он, Зоська Росомаха, впервые попал в море. Капитан-швед, который обходил на шхуне беломорские берега, скупая у поморов рыбу, взял Зоську с собой. И как Зоська стал зуйком – чем-то еще ниже и бесправнее юнги, мальчишкой на побегушках у всей команды – «за харчи».

В первый же шторм Зоська укачался. Ему стало очень плохо. Он вытравил прямо с наветренного борта и испачкал палубу. Он еще не знал, на каком борту можно травить, и притом ему все было безразлично: он был убежден, что умирает.

Капитан просмоленной рукой сгреб Зоську за шиворот, вытер палубу его физиономией, а затем протащил до самого полубака, швырнул на взлетающий к небесам бушприт и загнал зуйка на самый нок – туда, где не было ничего, кроме бурлящей пены и жесткого ледяного ветра. Зоська качался и вертелся посреди зеленого водяного хаоса, вцепившись в скользкое дерево. Он ревел и урчал, хватаясь зубами за форштаги, но не сорвался и совсем забыл про то, что его тошнит, что он умирает. Над самой головой Зоськи железно лязгала намокшая парусина кливеров. Команда шхуны собралась на баке и хохотала, глядя на это.

Когда зуйка пустили обратно на палубу, он изловчился и прокусил клеенчатые капитанские штаны и капитанскую ляжку, за что, страшно избитый, был брошен в канатный ящик и сутки провалялся на перекатывающихся якорных канатах.

– У, зверек! – не без уважения и даже с некоторым любованием Зоськой говорили матросы.

– Станет моряком, – усмехался капитан, – у, росомаха!

Больше никогда Зоська не травил и не боялся моря, штормов. Валяясь избитый, мокрый и одинокий в канатном ящике, звук подвел итог своему первому морскому приключению. Он навсегда понял, что море можно пересилить, если держаться до конца и ни о чем, кроме этого «держаться», не думать. Он понял, что должен стать здоровым и сильным, чтобы отомстить всем, кто издевается над ним сейчас, когда он маленький и слабый...

Это было в шестнадцатом году, а только в конце тридцатых, наполовину забыв русский язык, он вернулся на родину, обойдя к тому времени большинство морей мира. Сколько раз его били, сколько издевались над ним! Сколько кровавой юшки вытекло из его носа, сколько злобы скопилось в душе!..

А может, и не стоит обо всем этом рассказывать сыну? Пускай не думает, что отец хочет разжалобить его...

Так раздумывал боцман Росомаха, сидя на бочке из-под капусты в кормовой надстройке «Полоцка» и пуская дым себе за пазуху. Сквозь мутное стекло он видел едва заметные в ночной темноте очертания носовых надстроек и белесые полосы налетающих снежных шквалов. Иногда тьму вспарывал маленький, но лучистый огонек – гакабортный на корме «Колы».

Если огонек показывался в стороне от носа «Полоцка», боцман стучал каблуком по своей бочке и обзывал рулевого щенком. Щенок – по фамилии Бадуков – был ростом около двух метров, но по мягкости характера на боцмана не обижался и молча начинал перекладывать штурвал, выводя нос «Полоцка» в кильватер «Колы».

Управлять рулем вручную становилось все тяжелее и тяжелее. Штуртросы заедало, хотя перед выходом их почистили и смазали, пустой и высокий нос «Полоцка» часто уваливало под ветер, а через разбитые окна били в лицо холодные и жесткие брызги.

Бадукову помогала только молодость и свойственная рулевым привычка к мечтаниям. Он мог подбадривать себя простыми мечтами: например, тем, что до конца вахты остается всего полтора часа, потом заспанный Чепин поднимется в рубку и можно будет передать ему рукоятки штурвала, спуститься вниз и заснуть, укутавшись с головой сухим тулупом. Правда, и во сне перед глазами будет качаться снежная белесая мгла, и он, Бадуков, будет искать в

ней гакабортный огонь «Колы» и ждать сердитого окрика Росомахи, и мозолить ладони на штурвале, но во сне все это не так нудно, как сейчас, наяву.

Жили в нем и другие, более сложные и менее исполнимые мечты: чтобы капитан «Колы» Гастев объявил ему благодарность за согласие тащиться на этой ржавой консервной банке через штормовое море. И не просто благодарность, но и отпуск на недельку. Чтобы можно было, помахивая легким сундучком, сойти в Мурманске на причал, сесть в поезд и поехать в Вологду к Галке. Явиться совсем неожиданно и встретить Галку у дверей института в скверике. И чтобы снег падал на деревья. Очень хорошо, когда снег падает, а ветра нет и ничто не гремит, не стонет, не качается вокруг...

Бадукову вспоминалась его деревушка на Вологодщине. Снега. Сугробы под самые крыши. Тишина. Слабый скрип венцов у изб в лютые святочные морозы. Долгий и ясный звон, когда от ветерка качаются обледенелые веточки поникших берез. И та памятная для него зима, когда стояла особенно большая стужа. От натопленных печей в низеньких комнатках деревенской школы было душно, слезились стекла окон, потемнели от сырости лозунги, написанные на старых газетах еще со сводками Информбюро. Даже самые отчаянные мальчишки не выскакивали в перемену на мороз, сидели в духоте, шумели в коридоре, играли в «поцелуйки». Кто-нибудь брал за руку девчонку, которая ему нравилась, а по свободной руке его лупили ремнем. Кто дольше выдержит, не отпустит? Вот и вся игра.

Он, Лешка Бадуков, был в те времена очень маленького роста. Это потом, после седьмого класса, вымахал сразу на полметра. Такой незаметный был, что Галка совсем не обращала на него внимания.

И взял он ее кисть робко, чуть слышно. Но чем яростнее били его ребята, тем плотнее слипались Галкины пальцы в его ладони.

Как улюлюкали вокруг мальчишки! Хлестали, как и положено – без всякой жалости. Он весь взмок от пота, и губы дрожали... И бог знает, чем бы все это кончилось, если б не прозвенел звонок.

Хихикая, убежали девчонки. В последний раз хлестнув его ребром ремня, умчался экзекутор. И Галка спросила:

– Чего не отпускал? Ведь больно очень...

– А зачем? – пробормотал он и наконец отпустил... Почему-то всегда при Галке он куда смелее и выносливее, чем без нее...

Вот так раздумывал Бадуков, наваливаясь грудью на непослушный штурвал и отыскивая во тьме за форштевнем «Полоцка» гакабортный огонь «Колы». Размягченный мечтаниями и воспоминаниями, он начинал петь. Он пел все одну и ту же песню:

Мы в море уходим,
Там всяко бывает,
И может, не все мы
Вернемся домой...

Бадуков пел так проникновенно, что, потерпев минутку, Росомаха приказывал ему замолчать. Тогда рулевой опять начинал мечтать: зимой он обязательно сдаст экзамены на штурмана малого плавания, а Росомаха – тот всегда останется только боцманом, хотя сейчас и командует, как капитан...

В трюмах «Полоцка» возле мотопомп нес вахту моторист – молоденький, но очень рассудительный парнишка с круглой и плоской, как сковорода, физиономией, вечно измазанной соляром или тавотом. Настоящее имя моториста было Василий, а прозвали его Ванванычем – за степенную не по годам рассудительность. Этот паренек пережил много страшного. Он побывал в оккупации. И хотя тогда был еще совсем мал, все-таки принял участие в войне. Однажды,

забив в сапоги немецкому офицеру, который квартировал у них, по здоровенному гвоздю, удрал к партизанам и честно поработал помощником повара на партизанской базе.

Ванваныча на «Коле» любили – он знал это и, когда кто-нибудь ерошил ему волосы или нахлобучивал шапку на глаза, не сердился.

Мечтать на вахте моторист не мог: воды поступало порядочно, а одна из помп вела себя плохо – начинала чихать, и тогда ее отливной шланг прыгал и извивался в темноте трюма, как огромная, тяжеленная змея. Ванваныч прыгал тоже, уклоняясь от шланга, и обзывал то помпу, то себя «перекисью ангидрида марганца». Себя он ругал за то, что забыл на «Коле» запасное магнето и прокладку от приемного шланга.

Когда помпа начинала чихать, плеск воды в трюме усиливался. В луче электрического фонарика Ванваныч видел, как черная маслянистая жижа качается, поднимаясь по скобам трюмного трапа. А Ванваныч никак не мог разрешить ей подниматься. Он был один на один с этой грязной, черной водой в гулких пустых трюмах, и временами ему становилось жутковато.

Каждый час к Ванванычу спускался Росомаха. Сперва в зыбучей темноте показывался светлячок папиросы, которую не выпускал из зубов боцман, потом раздавалась хрипая брань: пока боцман брел в темноте, что-нибудь обязательно попадало под ноги.

Росомаха проверял отметки уровня воды в трюмах и несколько минут проводил с Ванванычем. Они сидели на корточках, друг против друга, слушали удары волн о борт, шум помп, плеск жижи в трюмах. Боцман вытаскивал часы, долго смотрел на их светящийся циферблат – замечал время обхода.

– Ну, как на воле? – спрашивал Ванваныч, чувствуя, что Росомаха вот-вот опять уйдет.

– Осенью всегда дует...

– Ага, – солидно соглашался Ванваныч. Ему очень хотелось хоть на минуту еще задержать боцмана, задать ему еще какой-нибудь вопрос, но Росомаха уже поднимался на ноги.

– Бывай, – говорил он. Боцман понимал, что моторист не хочет снова остаться один, но раз надо – значит, надо. И потом он, Росомаха, – боцман, а не солнышко и всех обогреть не может.

На палубе Росомаху обдавало водяной пылью, по глазам стегал ветер со снегом.

Две тысячи тонн стали, которые они вели через штормовое море, качались, дыбились. Но Росомаха умел собирать пальцы ног в такую щепотку, что подошвы прилипали к палубе на любом крене, как присоски.

Боцман не торопился подниматься в надстройку. Он стоял на палубе, оглядывая ночную тьму, – там ворочалось, извивалось и выло море; оглядывал небо, в котором нордовый ветер распарывал тучам рыхлое брюхо, на миг давая пробиться слабому свету звезд; и вся эта затея с буксировкой «Полоцка» не нравилась ему все больше и больше.

«Кола» долго проплавала в Арктике, обеспечивая перегон речных судов в устье Оби. Ее команда честно заработала себе право идти прямо в Мурманск, и то, что капитан «Колы» Гастев согласился на обратном пути из Карского моря буксировать «Полоцк», злило Росомаху.

Впервые за всю свою морскую жизнь боцман торопился вернуться в порт, на берег. Нестерпимым становилось ожидание встречи с сыном. На последней стоянке Росомаха даже попросил капитана списать его с судна до окончания рейса.

– Меня ждут на берегу, – сказал боцман Гастеву. – Мне нужно в Мурманск. – Он произнес это гордо, хотя совсем не был уверен в том, что его действительно ждут.

Но Гастев не стал слушать, кто ждет Росомаху на берегу: ему необходим опытный боцман для буксировки «Полоцка». Вот и все.

Росомаха обиделся на капитана. Несколько утешало только то, что на «Полоцке» оказались кое-какие полезные вещи. Боцман вытащил металлический штормтрап из котельного отделения и снял ручки с дверей нижних кают. Все это могло пригодиться для «Колы»...

Проведав моториста и проветрившись, Росомаха опять взбирался на свою бочку в кормовой рубке и закуривал новую папиросу.

Опять за его спиной скрипел штурвал и чувствительно пел Бадуков. Пел про то, что в море бывает всяко, что если моряк не вернется, то «рыбачка заплачет скупыми слезами и черную воду навек проклянет, а белые чайки замашут крылами и кто-то другой в непогоду уйдет...»

Около восьми часов утра поднялся в надстройку второй рулевой, Чепин. Еще с порога он закричал про сон, который ему приснился:

– Здоровенная, понимаете, груша! А я ее луплю, как тренировочную для бокса! Из нее сок в разные стороны так и летит, так и летит! А я ее – боевыми перчатками! Хрясть! Хрясть! А сам думаю, кусить бы кусочек... Во как бывает! Сколько на румбе?

– Проснись. Какой тебе здесь румб? – вяло откликнулся Бадуков, передавая штурвал сменному. – Держи в задницу «Колы», вот тебе и весь румб... Вахту сдал! – доложил он Росомахе.

– Принял! – бодро гаркнул Чепин и продолжал: – Эх, и жаль мне эту грушу! Так и не попробовал. Слышишь, боцман, я грушу видел!

Росомаха молчал.

По-прежнему впереди то гас, то зажигался гакабортный огонь «Колы», «Полоцк» вздрагивал от рывков, окунал нос в воду, а потом суетливо раскачивался с борта на борт и оборванные ванты фок-мачты с разлета закручивались на грибках вентиляторов возле дымовой трубы.

Близился рассвет.

Одна за другой уходили за корму разрезанные «Полоцком» волны. На пустынной палубе громыхала, раскатываясь при кренах, пустая канистра из-под бензина, – не закрепил ее Ванваныч. Сырость пробиралась сквозь одежду. Чепин зябко ежился, но бодрости в нем не убывало, и, чтобы развлечься, он стал задавать боцману каверзные вопросы.

– Зосима Семенович, – спросил Чепин душевным голосом. – Как считаешь, при коммунизме тебе не очень скучно жить будет, а? Все, понимаешь, тихо, мирно... Милиции никакой, пивные закроют... А? Боцман, я совсем серьезно спрашиваю.

– Отстань, – огрызнулся Росомаха.

– Нет, ты только представь себе, – и не думал отставать Чепин. – Как же ты на берег ходить будешь, зачем? А вообще, что это за формация – коммунизм – ты знаешь?..

Росомаха понимал: это летят камешки в самую середину его огорода. Он отстал от всех этих ребят, но признаваться в своей отсталости не хотел. Раньше ему наплевать было на то, что о нем могут подумать, а сегодня – нет. Поэтому чепинские вопросы злили не на шутку.

– Не ходи право! – рявкнул боцман.

– Есть не ходить право! – по всей форме повторил команду Чепин. Но после приличной паузы возобновил атаку:

– Боцман, скажи, пожалуйста, ты сколько раз в Африке бывал?

– А зачем мне считать? – чуя какой-то подвох, спросил Росомаха.

– Так... – многозначительно и зловеще протянул Чепин. Но, к счастью боцмана, здесь с «Колы» поднялась и, зависнув на миг в низких тучах, рассыпалась бледными искрами ракета. Это был вызов на связь. Росомаха включил переносную рацию.

Говорил капитан «Колы» Гастев. В темноте его строгий голос звучал так отчетливо, что казалось, сам капитан пришел сюда – маленького роста, с лицом, изрытым оспой, в синем простом ватнике, который всегда надевал в море; вошел и смотрит подчиненным прямо в лица своими сощуренными, холодными глазами.

Чепин даже выпрямился: капитан терпеть не мог, когда рулевые гнулись у штурвала или прислонялись к переборке спиной.

– Боцман Росомаха, доложите сводку!

Росомаха доложил: уровень воды в трюмах поддерживается неизменным, штуртросы по-прежнему немного заедает, люди покамест работают хорошо.

И опять вслед за своим голосом вошел в кормовую надстройку Гастев, но теперь казалось, будто капитан присел рядом с Росوماхой на бочку из-под капусты и запросто обхватил плечи боцмана.

– Как слышишь меня, Зосима Семенович?

– Хорошо слышу, капитан, – неторопливо ответил Росوماха и пустил дым себе за пазуху.

Он понял: разговор будет о чем-то серьезном.

– Ветер-то крепчает, боцман... Прогноз – до девяти баллов норд-вест...

Чепин выругался, пососал ссадину на кулаке и плюнул в разбитое окно перед собой. Ветер тотчас отшвырнул плевков обратно, и Чепин едва успел отскочить в сторону. Погодка действительно разгуливалась.

Капитан продолжал:

– До Канина Носа часиков двадцать всего осталось. Как «Полоцк» ведет себя? Еще не поздно на Колгуев свернуть, в Бугрино отстояться можно... Не торопись отвечать. Я на связи. Прием.

Росомаха наблюдал за дымом, который сочился из правого рукава полушубка, и думал. Он понимал все, о чем Гастев не считал нужным говорить вслух. Гастев вообще не любитель говорить много. В девятибалльный штормягу их с «Полоцка» не снимешь быстро. Чуть что – и будет просторный гробик на четверых: пока вельбот с «Колы» спустят, его двадцать раз в щепки разнесет... Но идти в порт Бугрино на Колгуеве – значит потерять неделю, а то и больше. Осенние штормы скоро не кончатся... Все в этом рейсе складывалось так, чтобы досадить Росوماхе, все было против боцмана: и капитан с его согласием буксировать «Полоцк», и море, что собирается шуметь и буяннить не на шутку, и сам «Полоцк», который вихляет и упирается...

– Я – Росوماха, я – Росوماха! – сказал боцман в маленький черный зев микрофона. – Стравите еще метров сто буксира, а то рывки сильные. Стравите буксира, и потихоньку дойдем.

– К богу в рай, – вполголоса докончил за боцмана Чепин и, придерживая носком сапога штурвальное колесо, потянулся к углу, в котором стояла рация, дернул Росوماху за тесемку капюшона: – Боцман, скажи радисту, пусть Витьке Мелешину передаст: если только мою канадку наденет, я ему морду набью... Он всегда все чужое хапает!..

«Полоцк», оставшись без управления, немедленно повалился на борт.

– Я т-те дам канадку! – зарычал Росوماха, втыкаясь носом в рацию. – Я т-те дам!

Из рации опять раздался голос капитана:

– Если помпы станут, сколько продержитесь?

– Главное – чтобы буксирный трос не лопнул, а за остальное не беспокойся. Эта коробка не такая дырявая, как кажется... – доложил боцман, показывая Чепину кулак. Но, закончив разговор, Росوماха больше не ругал рулевого. Он стал возле окна, бессознательно повторив позу, в какой обычно стоял Гастев, – упер локти в углы оконной рамы.

Сейчас не задумываясь он рискнул не только собой, но и всеми этими молодыми парнями. Не следовало сердиться на них. И буксир проверить пора – как бы не перетерся, – тогда сразу крышка... Не будет тогда ни встреч, ни разговоров...

– Так вот, товарищ боцман, – опять завел свою пластинку Чепин. – В этой самой Африке до сих пор кое-где существует первобытно-общинная формация. Эта формация...

– И без тебя знаю, – неуверенно пробормотал Росوماха. – Буксир надо посмотреть. У левого клюза трос на большом изгибе, как бы не перетерся...

– Все равно сюда вернешься! – с веселым злорадством сказал Чепин. – На палубе долго не просидишь... Я за четыре часа тебе про все формации расскажу...

Росомаха досадливо отмахнулся и пошел проверять крепления буксирного троса на полу-баке.

Неся на спинах белые гребни, с океана накатывались валы. За их грохотом уже не разобрать было ни скрипа штурвала, ни шума помп Ванваныча.

Тучи опускались все ниже. Они будто придавливали к морю ветер. Ветер становился плотнее, набирал силу.

2

Росомаха – северный, одинокий зверь. Он никогда не делает себе постоянного логова, он бродяга. Толстолапый и неуклюжий с виду, а на самом деле – быстрый и сильный.

Таким, оправдывая свою фамилию, стал и Зоська Росомаха к тому времени, когда его начали называть полным именем – Зосима. Он не любил задумываться над будущим, смеялся над настоящим и брал от этого настоящего все, что мог взять сегодня, что могли удержать его здоровенные, плоские, как лапы росомахи, руки. Но себя он никогда не берег и гордился этим.

С мятежным озорством Росомаха мог начать драку один против десятерых. Мог, висая на руках, перебраться с мачты на мачту по штаг-карнаку.

Мог – и не раз делал это – метнуться за борт на помощь какому-нибудь неудачнику. Но мог со спокойной совестью и не сделать этого: «Что я, рыжий, что ли?»

Его ценило начальство, потому что Росомаха был из тех настоящих боцманов, которым редко надо приказывать. Моряцким чутьем он чувствовал, где под слоем чистой краски ржавеет незасуриченное железо, где за доски обшивки вползла сырость, и без прогнозов погоды понимал, когда надо готовить добавочные крепления на палубный груз. Он любил свою работу, любил море: «А куда я без него?»

Женщины, которых он встречал на стоянках, тянулись к нему. Они чувствовали, что этот здоровенный, рыжий, кудлатый моряк спокойно может прожить и без них. Это задевало самолюбие, хотелось найти, чем же можно привязать его к себе.

Но Росомаха был твердо убежден, что жить свободным – спокойнее и легче, особенно если работаешь опасную работу. Одинокий рискует только собой, а не одинокий мучается за всех своих родных и близких.

Когда судно покидало очередной причал, боцман возился у своего брашпиля или убирал швартовы и только в самый последний момент неторопливо распрямлялся над фальшбортом, махал остающимся грязной рукавицей: «Не скучай, голуба!»

Все дальше уходил от него берег. Мутная, в радуге нефти, вода светлела. Все меньше щепок и разной другой портовой плавщины откидывала от борта ходовая волна. Бесчисленные боцманские дела вели Росомаху по судну и уже скоро занимали все его мысли: «Опять неплотно зачехлили шлюпки!» И когда он оглядывался назад, берег, если это было днем, уже синел бледной, бесплотной полоской, или рассыпался пригоршнями маленьких огней – если была ночь. И так же бледнели и рассыпались в памяти боцмана люди, оставшиеся на причале.

Даже в свое родное становище на Белом море он так и не собрался съездить, когда вернулся в Россию после долгих лет бродяжничества по свету среди чужих людей.

Перед самой войной Росомаха плавал на рыболовном траулере в Атлантике и чуть не влюбился. На траулере работала поварихой молоденькая девушка-рыбачка. Ее звали Марией.

Она была маленького роста, низко по лбу – у самых глаз – повязывала платок, держалась всегда тихо и незаметно. С одинаково робкой, слабой улыбкой Мария приносила горячую уху рыбакам в кубрики, как бы ни лютовал шторм на море. Такой же улыбкой отвечала на их шутки – соленые, как треска прошлогоднего засола, с такой же улыбкой могла подхватить разлохмаченный стальной швартов голой рукой, а потом потихоньку отмачивать ссадины в забортной воде.

Обычно Росомаха сходил с женщинами шумными, заметными, зубоскальными, а тут ему приглянулась эта тихая повариха. Но, хлопоча со своими бачками, напевая ей одной слыш-

ные песенки, Маша никакого особого внимания на боцмана не обращала. По несколько раз в день Росомаха спускался в камбуз, тяжело вздыхал, жаловался на одинокую судьбу, горести, пережитые на чужбине. Маша улыбалась в ответ своей слабой и робкой улыбкой, но от этого ее маленькая каютка не делалась для боцмана доступнее.

Все, конечно, знали про боцманскую неудачу. Те, кто был посмелее, подтрунивали над ним.

Восемнадцать лет назад в такую же вот осеннюю штормовую ночь – во тьме и пурге – капитан траулера не разглядел маячного огня. Траулер налетел на скалы у островка возле берегов Скандинавии. Сели плотно – с полного хода. От удара о камни в машинном отделении появились пробоины. На сигналы бедствия никто не откликнулся. А самим сняться с мели, заделать пробоины, откачать воду не удалось.

За ночь рыбаки так измучились, назяблись и отупели, что понемногу стали уходить в каюты. Засыпали, уже не замечая тягучих ударов судна о камни и изменения крена. Росомаха же до конца боролся с водой. Надежда на спасение дольше других не покидала его.

Слишком сильна в нем была жизнь. Даже тяжелая, как ртуть, усталость, которой набрякли руки, только обостряла ощущение жизни в теле.

Когда вода залила трюмные насосы и борьба стала совсем бессмысленной, Росомаха поднялся в ходовую рубку, разбил путевой компас и напился спирта: помирать, так с треском! Потом, отчаянно ругая все на свете, пробрался в каюту поварихи.

Маша лежала, закрывшись с головой, сжавшись в комок. Через треснувшее стекло иллюминатора в каюту залетали брызги.

– Вот и пришел наш час, помираем! – заорал ей в ухо Росомаха. – Эх, ненаглядочка моя! На, глотни спиртяшки, побалууй душу, легче будет.

Она послушно выпила спирта. Ей было страшно, ее трясло.

– Ну, не трясись, не трясись... И не обидно тебе девкой помирать?

Маша оттолкнула его, но не так решительно, как бывало прежде.

А оттолкнув, закрыла лицо руками и заплакала, а Росомаха сперва робко, а потом все смелее и смелее ласкал ее.

– Любимый ты мой, – вдруг громко и просто сказала Маша. – Ведь люблю я тебя, Зосима!

Дыхание его было горячим. Ощущать рядом сильное, такое живое тело было хорошо ей. Страх перед морем слабел, хотя от ударов судна о камни грохотали якорные цепи и зычно ухала вода в трубе умывальника.

– Как дальше-то буду? Как теперь жить буду, ведь бросишь ты меня, бросишь! – спрашивала Маша, сжимая, заросшие рыжей щетиной щеки боцмана.

– Ну да!.. Ну да!.. – бормотал Росомаха, освобождаясь от ее рук. – Дальше? Не будет у нас с тобой никакого дальше, ты не беспокойся, – утешал он ее. – Скоро рыбы к нам на свадьбу придут...

Их спасли тогда. Но интерес к Маше у Росомахи пропал. Он избегал ее, а через месяц опять ушел в море, в дальний рейс, теперь на транспортном судне – от пароходства.

Вспоминая гибель траулера и историю с молоденькой поварихой, Росомаха одинаково весело рассказывал и о том, и о другом. Он искренне видел во всем этом больше смешного, нежели серьезного.

Войну Росомаха провел в спецкомандах на Дальнем Востоке – плавал на транспортах в Америку. Несмотря на то что рейсы были опасными и Росомахе пришлось еще раз тонуть, он все-таки пережил меньше многих: у него не было дома, семьи, близких, за которых он мог страдать. Он по-прежнему оставался бродягой.

Как и все члены экипажа, Росомаха получал медали, получил даже орден Красной Звезды. Но когда совсем молодой еще капитан, с головой преждевременно поседевшей, сказал, протягивая награду: «За проявленное мужество и самоотверженность в деле защиты Родины...

От имени... по поручению...» – боцман секунду помедлил протягивать руку. Он сам не знал, почему вдруг помедлил подставлять свою заскорузлую ладонь под красную коробочку.

– Пожалуй, я не стою того, капитан, а? – ухмылкой прикрывая неожиданную растерянность, сказал он.

– Что ж, вам полезно иногда подумать так, – сказал капитан. – Но это вы заработали честно.

– Это так. Это правильно, – согласился Росомаха и взял орден.

Спустя два года после войны он вернулся в Мурманск. У него оказалось много денег – рейсы в Америку были выгодными, а тратить деньги раньше не хватало времени.

По возвращении Росомаха собрал в «Арктике» всех старых знакомых, кого встретил на причалах Торгового и Рыбного портов. За неделю спустил все деньги до копейки – и захандрил. В душе Росомахи стала пробиваться усталость. Его все меньше тянуло напиться в компании таких же, как он, отчаянных голов, все реже хотелось шуметь и скандалить. Водка уже не веселила, чаще заставляла скучать или рождала незнакомое доселе чувство одиночества.

Закрывшись ночью в каюте, Росомаха все хотел понять, что происходит с ним, куда девалось былое озорство и чего же, наконец, он хочет. Он не догадывался, что это копилась в нем усталость и тоска от бесцельной жизни. Слишком давно уж он решил, что хотя люди в мире, живут по-разному, но мысли у всех одни и те же: пожрать, выпить, подраться, переспать с бабой.

Много раз в жизни боцмана трепало и уродовало море. Он никогда не забывал о силе вздыбленной ветром воды: может, и ему суждено когда-нибудь оступиться и ухнуть за борт, или запутаться в стремительно разворачивающемся тросе, или неточно рассчитать путь смайненного в трюм груза. Но только недавно боцман подумал, что никто на Земле не заплачет, узнав об этом. Кореша, конечно, помянут; кореша честно напьются на поминках, но корешей таких – все меньше и меньше. Одни стали штурманами, даже капитанами, другие осели на берегу, зажили семьями, растили детей...

Когда за пьянство и грубость Росомахе закрыли визу, он долго шумел в отделе кадров, доказывал, что лучшего боцмана не найти во всем Союзе. Но это не помогло, и после очередного проступка его совсем уволили из парходства.

Только тогда он решил съездить на родину. Походил по замшелым скалам на том беломорском берегу, где родился. На месте былых хибарок теперь стояли цеха рыбоконсервного завода. Все изменилось вокруг, и только запах протухшей рыбы напоминал прошлое.

Новую работу найти оказалось трудно. Росомахе теперь не хотели брать даже на суда сельдяной экспедиции в Мурмансельди. И только капитан «Колы» Гастев взял его к себе на спасатель, потому что хорошо знал и ценил отчаянную смелость боцмана, его воловью выносливость в работе. А работы на спасателе в северных суровых морях было много. В привычной обстановке моря, которого Росомаха чуть не лишился совсем, в холоде, сырости и тяжелой усталости пропадали ненужные, невеселые мысли. Боцман был благодарен своему капитану и старался не подводить его.

Весной, накануне ухода «Колы» в последнее плавание, Росомаха встретил Марию. Это случилось возле Рейсового причала в Мурманске. Она подошла сама – тихая и незаметная, как прежде. Остановилась за шаг, всплеснула руками и сразу прижала их к груди, позвала одними губами:

– Зосима!

Он не сразу узнал ее, а когда узнал – обрадовался. Все спрашивал про старых знакомых, про то, почему нигде не встречал ее – что, плавать давно бросила?

Мария отмалчивалась. Потом подошел очередной катер.

– Вот и свиделись еще, – сказала Мария. – Я думала, тебя и в живых нет давно.

Она заплакала, медленно отирая со щек слезы рукавом ватника. От проснувшейся вдруг жалости Росомаха тихонько выругался.

– А ты не ругайся, это я так... Ты не думай... Все уже быльем поросло... – Она пошла к сходням на катер, оглянулась, сказала уже спокойно:

– Андрюшка у меня, сын. Твой он. От тебя. На побывке сейчас. Хошь – зайти можешь... На Мишуковом мысе живу.

Катер с Марией отвалил, а Росомаха так и остался стоять на причале: все не мог постичь то, что услышал.

«Кола» должна была той же ночью сниматься, но Гастев отпустил боцмана вечером на три часа.

С Росомахой творилось что-то странное – он боялся. Он ждал встречи и боялся ее. Так боялся, что бровь стала подергиваться на его лице. И это никогда раньше не бывавшее у него чувство страха и дергающаяся бровь пугали еще больше.

Но сына он не застал дома. Видел только его карточку: здоровенный, широкоплечий парень в пиджаке, с галстуком, стоял у какого-то дворца с колоннами и хмурился. По этой хмурости Росомаха понял: точно его кровь, и никаких сомнений тут быть не может.

– На доктора учится, – это было все, что сказала ему об Андрее Мария. А Росомаха не решался спрашивать что-нибудь еще, хотя она держалась ровно, больше не плакала и ничем не попрекала. Мария вела себя так, что чувство страха у Росомахи прошло.

Да и все в тот вечер – белесый и тихий, как бывает в Заполярье поздней весной, – настраивало на грустный, но спокойный лад.

Они сидели на крыльце домика Марии. Почти у самых ног хлопала слабая волна в обросших водорослями сваях маленького причала. Тренога створного знака, который стоял в скалах за домиком, не освещалась вспышками огня – маяки и створы не работали. Их свет не нужен морякам, если солнце не опускается за гребни сопки. Рваные сети, развешанные на кольях вместо ограды, парусили от ветерка; и огненного цвета петух с пышным хвостом кукарекал, запутавшись в сетях.

Мария освободила петуха, подкинула его в воздух:

– Иди домой, Петя! Ночь на дворе...

Петух захлопал крыльями, закричал победно и глупо. Он все не мог понять, что свет над землей не всегда обозначает день.

Росомаха курил папиросу за папиросой и ждал, что вот-вот сын подойдет. Но протарахтел моторчиком последний рейсовый катер, гулко ткнулся о сваи причала: матрос лениво бросил канат на деревянный пал и зевнул. Через полчаса катер должен был уйти обратно в город и увезти с собой Росомаху, а сын все не появлялся – гулял где-то на танцах с друзьями.

Какой-то офицер спустился с сопки, чавкая сапогами по мокрому мху, поздоровался. Мария заторопилась в дом, вынесла ему узел. Офицер отсчитал деньги.

– Ох! А у меня сдачи нет! – встревожилась Мария сильнее, чем следовало. – Мельче-то не найдете?.. Рубахи пересинила чуток, вы не гневайтесь...

– Не надо! Не надо сдачи, – махнул рукой офицер. – Спасибо вам, мамаша. Через недельку приходите, еще дадим...

Он кивнул Росомахе, полез на сопку.

– Они в Оленьей губе стоят. Хорошие ребята, тихие, – сказала Мария, будто оправдываясь перед Росомахой. Деньги она скомкала, засунула в карман.

– Стираешь? – спросил Росомаха.

Мария не отвечала.

– И деньгами не дорожатся... – сказала она, думая о чем-то своем. – По молодости это у них... Плавать-то не устал?

– А если и устал? Куда мне без него?

Росомаха выщелкнул окурок по направлению к морю – туда, где за поворотом залива оно дышало туманом на простывшие за долгую зиму берега.

Откашлялась и заняла сирена на катере, сзывая пассажиров, и боцман понял, что так и не успеет дождаться сына. И только тогда, перестав ждать его, он впервые по-настоящему взглянул в лицо самой Марии, легонько тронул ее рукав, посадил рядом.

Она опустила покорно и робко. Росомаха все смотрел ей в лицо, видел его близко – посеревшие, но еще пушистые волосы, жилы, двойной оплеткой протянувшиеся по шее.

– Эх, Маша... – сказал боцман. Он все искал, что бы сказать еще, но в душе его сейчас было так много совсем непривычных и даже непонятных чувств, такая смутная, горькая, но в то же время чем-то приятная боль трогала сердце, что губы у Росوماхи задергались, как давеча дергалась бровь.

– Эх, Маша... – повторил он и долго шарил по карманам, искал папиросы, которые лежали рядом на ступеньке.

Мария молчала. Смотрела на дальние сопки.

И хотя боцман понимал, что нельзя просить прощения за все, что по его вине пережила она, однако, перебив спазм в горле напором голоса, а потому грубо и громко, с угрозой договорил:

– Ты прости, слышь? Прости, Мария?!

– Как Андрей скажет, – ответила Мария и отвернулась. – Счастливо плавай...

Опять заняла сирена на катере. Росомаха встал, и тогда только нашлись слова, которые и могли выразить всю сложность и значительность того, что он переживал сейчас.

– Впервой не хочу в море идти, – сказал боцман. Но ушел.

И как он мог не уйти, если «Кола» вот-вот уже снималась с якорей?

3

Днем шторм набрал полную силу.

Море – мутное и злое – било «Полоцк» под бока тяжелыми, крутыми волнами. От этих ударов где-то в глубинах мертвого судна рождались тягучие стонущие звуки. Звуки, в свою очередь, вызывали у Бадукова, опять стоявшего вахту, нехорошие ощущения. Ему казалось, что каждый раз, когда буксирный трос рвет на себя, «Полоцк» растягивается, хрустит позвонками килля, шевелит ребрами шпангоутов и в результате вот-вот развалится на куски. Мечты – и маленькие, и большие – от усталости исчезали. Бадуков снова пытался вызывать их, но в голову приходило только невеселое: Гастев, конечно, никакого отпуска не даст; «Кола» после рейса станет на ремонт, и придется целыми днями шкрябать с ее бортов старую краску. От этой скучной и грязной работы болят глаза и дрожат руки...

Поймав себя на таких мыслях, рулевой встряхивал головой и спрашивал у Росوماхи разрешения покурить. Но Росомаха не разрешал:

– На вахте стоишь, а не картошку копаешь...

Бадуков обиженно шевелил посиневшими от ветра губами и назло боцману, ветру и брызгам старался вспомнить что-нибудь яркое и радостное. И опять оказывалось, что все самое хорошее и радостное связано с Галкой. Было приятно вспоминать даже незначительные случаи. Как, например, они однажды вечером шли из клуба после самодеятельного концерта. Сверкали лохматые от мороза звезды. Над застывшей землей висела тишина. Стоило только остановиться, перестать скрипеть валенками, как эта тишина обволакивала все вокруг, и тогда становилось почему-то боязно нарушать ее.

Галка от смущения старалась идти в сторонке от него. Тропинка в сугробе была узкая, и Галка черпала валенками снег и спотыкалась.

– Я сама дойду. У тебя уши отмерзнут, – тихонько просила она и останавливалась. От жгучего мороза першило в горле. А он, дурак, при Галке всегда кепку носил. Вот теперь уши и болят, как только ветром прохватит.

Стучал по бочке боцманский каблук. Бадуков спохватывался. Торопливо скрипели штуртросы.

– О чем думаешь? – строго спрашивал рулевого Росомаха. В эти последние дни плавания боцман, помимо своей воли, по-новому приглядывался к молодым матросам. Внешне он по-прежнему был с ними груб, строг и беспощаден, но то и дело ловил себя на вдруг проснувшемся интересе к людям, которые были почти погодками его сына. Они были одним поколением, выросли в одно и то же время. Понять их – значило подготовиться к встрече с сыном.

Вообще, Росомаха не привык делиться с кем-нибудь своими мыслями. Только Гастеву он сказал о Марии. И то сделал это по необходимости. Но теперь, когда до Мурманска оставались уже не недели, а дни, боцману становилось невтерпеж держать все про себя.

– Так о чем ты думаешь, когда на руле стоишь? – повторил вопрос Росомаха.

Бадуков только вздыхал. И переминался с ноги на ногу, когда палуба на миг выравнивалась.

– Штормит сильно, боцман, – оправдывался рулевой. —И штурвал заедает...

– Конечно, штормит, а ты чего ждал?.. – глухо говорил боцман. – А я вот все о себе думаю. Все, понимаешь, думаю. И думаю... Смотрю на вас – и... А у меня вот тоже сын... Вас помоложе, а уже доктор... Во, а ты говоришь...

– Я ничего не говорю, – робко обижался Бадуков.

– Во... И жена, может, есть... А рука у нее, как клешня у краба – замозолилась...

– Вам, боцман, отдохнуть пора.

– Дойдем к причалу, там и отдохнем... Да не рви, не рви штурвал! Спокойно работай...

– Есть... Только на доктора теперь шесть лет учиться надо. А говорите – нас моложе...

Или даже шесть с половиной.

Но Росомаха уже не слушал Бадукова. Он разговаривал опять сам с собой. А под бортом «Полоцка» с грохотом все взрывались и взрывались волны.

На полу капитанской каюты, в которой они устроили себе жилье, безмятежно спал Чепин, хотя при резких кренах его перекатывало от стенки к стенке. Груши ему больше не снились: наверное, устал за четыре часа вахты.

Ванваныч тоже замучился со своей непокорной помпой в третьем трюме, и Росомаха теперь спускался к нему каждые полчаса. Вода в трюмах прибывала, но не так, чтобы это серьезно тревожило боцмана. Судно, по его мнению, держалось великолепно, и никакой опасности им не грозило: до Канина Носа оставалось часов шесть хода.

Берег уже появился с левого борта – неровная черная стена между низкими клубящимися тучами и белой полоской штормового наката.

В сером свете дня особенно неприглядными стали ржавые листы железа на палубе «Полоцка», его поломанные мачты и перекосившаяся дымовая труба, из которой не вылетал даже самый слабый дымок.

Но и шторм, и низкие тучи, и холод, который давно пробрался к самым костям, и тяжелая, резкая качка, и неполадки с помпой, и заедающий штурвал – все это было так привычно и обыденно, столько раз в жизни по-разному испытано, что, исполняя положенные обязанности, Росомаха не утруждал своего внимания. Чутье, рожденное опытом, подсказывало ему, когда, что и как надо делать. Голова же боцмана была свободна, и мысли о самом себе, о той новой жизни, которую он обязательно начнет теперь по возвращении в Мурманск, одна за другой приходили к нему.

И по тому, как окликнула его Мария на причале, как прижала руки к груди, и по тому, как покойно и тихо ему стало той ночью, когда он сидел рядом с ней на крыльце, слушал плес-

канье воды в сваях, и по многим другим, самому ему непонятным вещам – Росомаха чувствовал, что она простит или уже простила. Он понимал, что она сразу угадала его теперешнюю неприкаянность, одиночество и пожалела его, но не мог не удивиться ее силе. Как можно после стольких лет, прожитых в горе и труде, прожитых так тяжело по его, Росомахи, вине, не проклинать, не ругать, не кричать, не ненавидеть?

Покорность судьбе, бесшумность и незаметность Марии никак не вязались с тем мужеством и верой, которые нужны, чтобы родить сына, поднять его в темные годы войны. И ни разу даже не попробовать разыскать его, Росомаху, сказать, потребовать помощи! «Рубахи пересинила, вы не гневайтесь»... Когда боцман вспоминал эти слова, ребра на левой стороне груди начинали ныть, будто в драке хватили по ним пивной бутылкой. Росомаха потирал бок сквозь мокрый брезент плаща. Брезент топорщился под ладонью.

– Эх, Маша, Маша, – мысленно все повторял боцман и пожимал плечами. – И чего ты тогдашла во мне? Эх, Маша, Маша...

Разрушенные бомбой надстройки «Полоцка» качались перед ним, по развороченной палубе стекали в проломы фальшборта потоки кипящей воды.

И в тот момент, когда привычному глазу боцмана вдруг показалось, что ветер чересчур быстро стал менять направление, а волны пошли не с того курсового угла, над «Колой» поднялась очередная ракета. Бадуков крикнул:

– Боцман, они ход прибавили! Что они там, с ума походили?!

– Похоже, и курс меняют, – настраивая рацию, проворчал Росомаха. – А твое дело маленькое – крути давай...

4

Когда в штормовом море гибнут люди, их нельзя спасти без риска погибнуть самому.

Каждый раз, когда капитан «Колы» Гастев вел свое спасательное судно навстречу шторму, на помощь гибнущим людям, ему приходилось в той или иной степени рисковать и св им кораблем, и своим экипажем. И он привык к этому. Море есть море.

Трудное дело – быть капитаном аварийно-спасательного судна. Море и ветер отпускают на раздумье секунды. Нужно уметь верить в себя и своих людей – это главное. И не бояться ни Бога, ни черта. И знать морскую службу. И иметь за плечами такую биографию, которая дает моральное право на любой приказ подчиненным.

У Гастева было все, включая и биографию. Военный моряк, подводник в прошлом, он столько раз в своей жизни смотрел смерти в глаза, что даже перестал при этом жмуриться. Да и некогда мигать и жмуриться, если перископ выныривает из воды на одну-две секунды, а оглядеть надо и небо, и море, и горизонт. А тут вдруг еще увидишь орудийное дуло и бурун под носом эсминца, который летит прямо на тебя со скоростью в тридцать узлов.

Однажды на Балтике, уже в конце войны, он всплыл вот так, под перископ, внутри немецкого каравана, успел увидеть все, что нужно, успел атаковать торпедами здоровенный транспорт, но не успел уйти от тарана эсминца охранения – от того самого проклятого буруна под острым форштевнем. Лодка упала на грунт. Ее забросали глубинными бомбами, но не добились до конца.

Двое суток лежали на грунте и ремонтировались. Забортная соленая вода попала в аккумуляторные ямы. В отсеки стал просачиваться хлор. Тогда и закончилась подводная карьера Гастева. Даже в обычной каютной духоте надводного корабля он часто бледнел и рвал ворот рубахи, задыхался. О возвращении на подлодку нечего было и думать.

После демобилизации сам пошел стажером на спасатель, долго плавал, пока не получил положенный для гражданского судоводителя ценз. Получив диплом, поднялся на мостик «Колы». С тех пор прошло десять лет. Десять лет штормов, срочных погрузок, аварийных тре-

вог, оборванных буксиров, докладных записок на списание погибшего имущества, разбитых в щепки вельботов и мотопомп, которые всегда подводят в самый ответственный момент...

Все это была хорошая школа.

Когда Гастев прочитал короткие строчки радиogramмы, подписанной капитаном лесовоза «Одесса», в одной его руке оказалась судьба четверых из команды «Колы», в другой – судьба тридцати восьми человек, которых он никогда не видел и не знал о них ничего, кроме того, что они – наши моряки.

Но Гастев был капитан-спасатель. Любой попавший в беду немедленно должен был стать для него дорожке и важнее, нежели самые близкие и родные люди, – это и было особенностью его работы, его долгом.

Тридцать восемь человеческих жизней вместе со своим лесовозом через три часа разобьются на каменных кошках недалеко от мыса Канин Нос. Никто, кроме «Колы», не может поспеть туда за это время. Но, чтобы успеть, «Коле» необходимо вдвое увеличить число оборотов.

Осенний свирепый норд-вест тащит «Одессу» на скалы, и нет времени, чтобы постепенно увеличить скорость. За кормой «Колы» на буксире «Полоцк». Резкое увеличение хода – сильная нагрузка на трос. Трос может лопнуть, но... Но времени нет. И все равно, ведя на буксире «Полоцк», «Одессе» не поможешь. «Кола» связана в маневре полукилометром стального троса и двумя тысячами тонн ржавого железа. С таким шлейфом нечего и думать подойти к «Одессе». Необходимо также сохранить буксирный трос: на лесовозе его быть не может. А если трос лопнет после резкого увеличения хода? Но он лопнет, скорее всего, или у «Полоцка», или где-нибудь посередине между судами...

И в ту же минуту, как Гастев прочел радиogramму, он приказал увеличить ход до полного. Он не запрашивал мнение Росомахи, потому что не сомневался в своем боцмане. Тот должен был понять, что на выборку буксирного троса, на спуск вельбота и попытки снять с «Полоцка» людей пришлось бы потратить два из тех трех часов, которые все, до последней минуты, требовались, чтобы успеть к мысу Канин Нос до того, как аварийное судно разобьется на кошках.

Старший помощник Гастева толкнул рукоятку машинного телеграфа. В машинном отделении звякнул звонок.

«Кола» рванулась вперед.

Волна навалилась на ее правую скулу, наискось перехлестнула через полубак. На какой-то миг свет в рубке позеленел – брызги покрыли стекла сплошным потоком воды.

Рулевой не удержал штурвал, поскользнулся и съехал по мокрому линолеуму к дверям рубки. Крен был большой, градусов сорок пять.

– Стойте на ногах! – крикнул Гастев. Изрытое оспой лицо капитана покрыли морщины.

– Есть! – ответил рулевой и, цепляясь за подоконные ремни, пошел обратно к штурвалу.

– Буксирный трос на таком ходу выдержит не больше часа! – Старший помощник сдвинул папиросу в самый угол рта и ощерился.

– Нет, – ответил Гастев. – Нет. Не выдержит часа. Минут сорок. Это максимум. У вас есть другие предложения?

Старпом не ответил. Новая волна поднималась с правого борта, и надо было готовиться встретить ее. Он уцепился за поручень и подогнул ноги.

Волна ударила. «Кола» вздрогнула, повалилась на левый борт. Рулевой тяжело выругался. Волна схлынула, судно выпрямилось, и все почувствовали еще один слабый толчок.

– Буксир надраивается! – крикнул старпом.

Гастев молчал.

– Сейчас волна дойдет до «Полоцка», – сказал рулевой. Его лицо напряглось, глаза сузились. Колесо штурвала вращалось медленно, настороженно. Поцелкивали контакты контрол-

лера. Наконец «Кола» вздрогнула и присела на корму, как осаженная на полном ходу лошадь. От толчка Гастев ударился козырьком фуражки в стекло окна.

– Дошла! – крикнул рулевой и быстро завертел штурвал. Буксир выдержал.

– Старпом! – приказал капитан. – Передайте на «Одессу»: идем к ним. Дайте наши координаты. Наш ход до девяти узлов. И вызовите на связь Росомаха. Я буду говорить с ним. Сам.

Старпом, цепляясь за все, что попадалось на пути, выбрался на крыло рубки и посмотрел на корму.

В трехстах метрах позади кормы в облаке водяной пыли моталась на буксире темная машина «Полоцка». Буксирный трос то надраивался, весь показываясь из воды, то опадал и, провиснув, скрывался в волнах. Когда он надраивался, то вспарывал воду, ветер обдувал брызги, и казалось – на тросе полощут серое тряпье.

Старший помощник сплюнул вязкую слюну, положил тяжелый сигнальный пистолет «Вери» на выступ прожектора и выстрелил, вызывая на связь Росомаха. От момента получения Гастевым радиogramмы до этого выстрела прошло около трех минут.

По тому, как далеко снесло ракету – она разорвалась где-то над берегом, – становилась заметной страшная сила ветра на высоте.

Гастев спустился в радиорубку. Радист вскочил с кресла и уступил место капитану.

– Дайте «Полоцк», – сказал Гастев, опускаясь на гнутую ручку кресла, и взял наушники. Они были теплые – нагрелись на голове радиста. Капитан посмотрел на свои руки. Указательный палец левой руки чуть заметно вздрагивал. Это не понравилось Гастеву. Он положил руки на стол, растопырив короткие, в веснушках пальцы.

– Так, – сказал Гастев в микрофон, услышав голос Росомахи. – Слышу вас хорошо, Зосима Семенович. Очень хорошо слышу тебя, боцман.

Радист подsunул капитану чистый бланк для радиogramмы. Он думал, что капитану надо будет что-нибудь записать, но Гастев отодвинул бумагу. Он любил бумагу и писание еще меньше, чем разговоры.

– Да, я немного изменил курс и прибавил ход. Работаю сейчас полным ходом, Зосима, и ваше дело, пожалуй... табак, – медленно говорил Гастев, сползая с ручки кресла на сиденье. Усевшись наконец плотно, он снял фуражку и стал разглядывать треснувший козырек. – Ты все слышишь, Зосима Семенович?.. Так вот, лесовоз «Одесса». Тридцать восемь человек. Скоро будут на кошках у Канина. Ни одного судна, кроме нас, сейчас в Баренцевом море нет. Ты все понял? Какие у тебя соображения? Прием.

Рация молчала. Гастев смотрел на никелированный ободок микрофона и видел в нем свое лицо – длинное, изуродованное. Время тянулось, как тянется по палубе мокрый трос, цепляясь за каждую трещинку в досках. Такая пауза удивила Гастева. Он даже пожал плечами. Он верил в то, что Росомаха не станет в этой ситуации терять зря время.

– Как поняли меня? Как поняли меня? – наконец опять спросил Гастев, обеими руками раздергивая ворот ватника и бледнея. – Ты слышишь, боцман?

– Слышу.

– Это не боцмана голос, товарищ капитан, – сказал радист.

– Кто на связи? – крикнул Гастев.

– Я на связи. Я, Росомаха.

– Какого черта молчишь тогда? – хрипло сказал Гастев, разматывая с шеи шарф.

– А чего говорить? Если буксирный трос лопнет... Если вы перестанете держать нас носом на волну... эта ржавая банка долго не продержится...

Росомаха говорил то, что и сам Гастев знал достаточно хорошо. Зачем говорить о том, что и так понятно? Конечно, переплет тяжелый. И шансов на спасение у четверки с «Полоцка» маловато, но на то они и моряки-спасатели, чтобы не распускать нюни и драться до конца. И уж Росомаха-то должен понимать это лучше других.

– Если «Полоцк» начнет брать воду бортом, мы вместе с ним пойдем на грунт, – необычайно тихим голосом продолжал боцман. – Если же «Полоцк» продержится пару часов, нас швырнет на рифы под берегом, и мы тоже отправимся на грунт. А там холодно, капитан... – и стало слышно, как неуверенно засмеялся Росомаха.

Раньше Гастев только удивлялся и не понимал. Теперь его рассердил смех боцмана.

Но то, что Гастев рассердился, и помогло ему. Он отдал тяжелый приказ. Делать это было нелегко. А сейчас, когда родилось раздражение, Гастев мог с меньшим трудом для себя быть беспощадным. Он как бы становился беспощадным к растерянности и бравате людей, а не к ним самим. Четверым на «Полоцке» предстояло пережить многое, но они обязаны вести себя достойно, черт побери!

– Росомаха, вы – спасатель! – сжимая кулаки, процедил Гастев. – И вы добровольно согласились идти сквозь шторм, и сами отказались от захода в порт-убежище, а теперь... У меня нет ни времени, ни возможности снять вас. На это нужны часы. «Одесса» вылетит на кошки у Канина, если вы не отдадите буксир и не освободите «Колу». А ты знаешь, что такое Канин в такую погоду? Я спрашиваю, ты понимаешь все это?

К концу своей речи Гастев взял себя в руки и успокоился.

– Да не хуже вас понимаю, – грубо, но тихо ответил Росомаха. – А мы здесь рыжие, что ли?

– Так, – сказал Гастев жестко. – Во-первых, немедленно информируйте обо всем ваших людей. Во-вторых, запомните, какие-то шансы у вас есть. Судно пустое, легкое... Если удачно заклинит в скалах, продержитесь до нашего возвращения. Или погода стихнет...

– Я закрываю связь, – монотонно пробормотал Росомаха.

– Ему ребят жалко, – сказал радист, принимая у капитана наушники. – Самому Зосиме сам черт не брат...

– Нет. Здесь не то... – сказал Гастев и вытер с лица пот. – Но ни черта другого не придумаешь...

Он поднялся в ходовую рубку.

«Кола» рвалась с волны на волну. Тягостные рывки сотрясали ее тяжелый корпус. Но во всех отсеках судна стояла тишина. Тишина оттого, что люди молчали. Они слушали эти рывки и ждали, когда они прекратятся. И боялись этого. И знали, что рано или поздно буксир лопнет. Рано или поздно рывки прекратятся.

В рубке тишина стояла особенно гнетущая.

– Я Чепина канадку надел! – громко сказал рулевой. – Чепину девушка канадку подарила! На Диксоне! А как он теперь...

– Заменить рулевого! – приказал Гастев.

– Он только заступил... Люди устали... – заикнулся старпом.

– Замените рулевого! – заорал Гастев.

Рулевого сменили.

Капитан «Колы» знал Росомаху давно. Он взял его к себе на судно, потому что не сомневался в этом старом морском волке – такой не подведет, если вдруг придется туго. Он всегда посылал боцмана в самое пекло и ни разу не ошибся в нем. Сейчас он уверенно рассчитывал: Зосима все поймет сразу, Зосима не будет много разговаривать и возьмет часть тяжести решения на себя. Ведь других-то путей нет? Нет! Поэтому он и увеличил ход... Гастев помнил, как упорно боцман не хотел, чтобы «Кола» задерживалась для буксировки «Полоцка», как просил разрешения покинуть судно и уйти с оказией в Мурманск. Конечно, умереть, не повидав сына, дело невеселое. Но море есть море. И нельзя нарушать морские законы.

В рубку просунулся радист:

– Товарищ капитан! С «Одессы» уже видят отблески Канинского маяка! Они просят вас еще увеличить ход... От бортовой качки у них вышел из строя первый котел... Вода куда-то там не подается. Не разобрать никак – куда...

– Они просят! – негромко оказал Гастев. – Передайте, что я связан буксировкой. И не могу снять людей с «Полоцка». И не могу больше прибавить ход. Пусть травят якорь-цепи до жвака-галса и ждут. Идите!

Радист ушел.

– А если самим отдать буксирный трос с гака? – неуверенно предложил старпом.

– Нет. Мне самому нужен трос. Думать надо! – сказал Гастев и кинул шарф на ящик с сигнальными флагами в углу рубки.

– Что говорит Росомаха? – спросил старпом.

Гастев не ответил и отвернулся.

Да, Росомаха не хуже Гастева знал, что такое Канин Нос в такую погоду, в девяти-балльный норд-вестовый ветер: приземистые шиферные утесы, сиротливые строения маячного домика и красная башня самого маяка; плоские каменные кошки в трех милях от мыса и буруны на них – разможенные камнями волны, взлетающие косо и стремительно. Плохо придется этим тридцати восьми.

А может, есть у них еще надежда – якоря? Но сколько выдержат якоря на скальном грунте, когда судно бьют волны, взявшие разбег еще где-то на другой стороне океана?

Эх, Мария, Мария... И кто она ему по закону? И кто ей он? Никто. Черта с два получит она за него пенсию! Сын... Хоть бы разок повидать его, ощупать плечи, пожать руку...

Но прав и капитан: нехорошо он, боцман, смеялся... «Вам самим придется отдать буксир!» Веселенькое дельце!

– Что «Кола» говорила? – кричал Бадук, захлебываясь ветром. – Пускай скорее ход сбавляют! Боцман! Боцман! Что они там говорят?

– Ну, прибавили ход и прибавили! Чего вопишь? – отмахнулся Росомаха от рулевого. Почему-то боцману не хотелось сразу информировать матросов. Он прекрасно понял и помнил приказ капитана, но решил, что просто не следует раньше времени тревожить молодежь. Зачем это? Нет. Не надо... И очень хорошо, что море так расшумелось: себя плохо слышишь – не то что рацию. Но Бадук смотрел тяжелым, недоверчивым взглядом. И Росомаха поторопился уйти из надстройки в обход по судну. Однако прежде чем уйти, он вынул из рации предохранитель и сунул за щеку. Так было спокойнее.

Короткий день уже кончался. Влажная муть, которая поднималась над штормовым морем, быстро сгустилась. Берег скрылся за нею, и ничего не стало видно вокруг. Только два корабля, связанные между собой тросом, качались на волнах и пробивали их, откидывая от бортов живую тяжесть валов.

Росомаха спустился вниз и замерил уровень воды в трюмах. Он делал это неторопливо и тщательно. Ванваныч спросил, почему, ангидрид их перекись марганца, усилились так рывки. Боцман и ему ничего не стал объяснять.

– И поужинать пора бы, – сказал Ванваныч. Сказал это только для того, чтобы показать, какой он лихой моряк и как не действует на него качка.

– Успеем поужинать, – ответил Росомаха и полез в машинное отделение проверять распорки у того места, где когда-то разорвалась бомба. Потом поднялся на палубу и долго лежал под срезом полубака, наблюдая за буксирным тросом.

Полубак так же взлетал к небесам и рушился вниз, покрывая бурлящей пеной, как и сорок лет назад, когда Росомаха впервые попал в море и прокусил шведскому капитану ляжку. Все повторяется в жизни, все течет... Но совсем другой человек, другой капитан сегодня ждал от него, простого боцмана, помощи и совета. А он? Он поступил не так, как требовалось всегда поступать в море. Ну и что? С каждым бывает... И вот он лежит под срезом полубака, смотрит

на буксирный трос и не хочет, чтобы этот трос лопнул. Росомахе вспомнился еще один капитан – тот, который вручил орден. И его: «Это вы заработали честно...»

А на буксирном тросе пока не было видно признаков близкого разрыва – держались все пряди. Боцман решил, что трос даже на таком ходу выдержит не меньше часа. Недаром он из месяца в месяц заставлял матросов прочищать и смазывать трос мазью, собственноручно приготовленной из тавота и грифеля. Ни одной ржавой проволоочки нельзя найти в сотнях метров буксирного троса...

Росомаха вернулся в кормовую надстройку совсем мокрым и оглохший от грохота, с которым волны разбивались о высокий нос «Полоцка».

Все еще не так плохо. Если трос продержится до того момента, пока лесовоз вылетит на камни; если поздно станет спешить к тем тридцати восьми, – «Кола» сбавит ход, и через несколько деньков отец сядет за один стол с сыном. А сама отдать трос с гака «Кола» не сможет: без троса с «Одессой» на такой волне ничего не сделаешь... Да, пожалуй, он устал уже от всего этого моря. Ей-богу, устал. Привычка, конечно, сильная: к морю тянет. Но надо знать и предел... Если б прошлой ночью он сказал Гастеву одно только словечко, то сейчас они стояли бы в Бугрино, и все было бы тихо и мирно. Но он торопился. Торопился первый раз в своей жизни к земле, к бетону причала, к маленькому домику возле створного знака, и вот из-за этого попал в такую передрагу, из которой...

– А все-таки что случилось, боцман? – опять крикнул Бадуков, как только Росомаха залез на свою бочку в надстройке. Лицо Бадукова осунулось, глаза запали. Он низко сгибался над штурвалом, а временами и совсем повисал на нем – удерживать «Полоцк» против волны становилось все тяжелее.

Боцман молчал. Скажи им правду – и эти щенки, как только услышат про «Одессу», всей сворой побегут на полубак рвать буксир. Вот почему ему и не хотелось тревожить их раньше времени, вот почему он снял предохранитель с приемника. Их не уговоришь, не остановишь... Им бы только дорваться до возможности сломать себе шею. Он-то это знает – недаром приглядывался к ним этот последний раз... Молодые герои – спасатели! А хватило бы у них духу в одиночку удрать с корабля, ночью прыгнуть за борт и плыть в сплошных чернилах – без звезд и без луны – десяток миль до чужого, незнакомого берега, как сделал это однажды он? Да еще ждать, когда тебя схарчит акула или на берегу посадят за решетку, потому что на покинутом корабле остался с ножом между ребер матрос американского коммерческого флота... На всю жизнь запомнились и американский рефрижератор, и морда этого стюарда, и эти рейсы из Австралии в Сиэтл, и слова стюарда: «Вонючее русское дерьмо». Вот о чем еще надо рассказать Андрею. Он, Росомаха, показал, что такое «русское дерьмо!» Он это за всех русских сделал... Такое должно понравиться молодому парнишке... Подожди, подожди, Зосима Семенич... Подожди-ка...

Росомаха вздрогнул, вцепился в раму окна, прижал лицо к мокрому стеклу. Где-то там, во тьме и снежном тумане, скоро погибнут свои ребята. Что тогда скажет Андрей?

Тридцати восьми моряков на «Одессе» не было видно и слышно Росомахе. Даже писка их морзянки, который давал людям «Колы» уверенность в реальности этих тридцати восьми, приближал и делал понятной их беду, боцман не мог слышать, сидя на своей бочке из-под капусты в кормовой надстройке «Полоцка».

Но раньше Росомаха как раз и не желал его слышать, не желал представлять этих тридцать восемь живыми и теплыми людьми, не хотел знать их кока, капитана или боцмана. А тут вдруг подумал, что боцман с «Одессы» вернее всего такой же рыжий, как он сам. Боцманы чаще всего почему-то рыжие. Их боцман, наверное, сейчас так же лазает по своему лесовозу и шупает борта, и готовит помпы и пластырь, и проверяет крепления для буксирного троса...

Быть может, они не раз встречались с ним где-нибудь на пирсах Новороссийска или Корсакова, а может, когда-нибудь и хватили друг друга по уху. Все может быть в жизни. Все может

быть в море. «Боцман у них – хороший мужик!» – неожиданно решил Росомаха, и от этой мысли вдруг что-то прояснело в нем.

– Паря! – крикнул Росомаха Бадукову, вынимая предохранитель изо рта. – У Канина ребята гибнут! Одесситы!.. Тридцать восемь штук!.. К ним Гастев и торопится. Понял? Вот так... Боцман у них рыжий, как я... Я его, тресочью душу, давно знаю!

– Что?

– Рыжий, говорю, у них боцман, понял?

– Рыжий? А если буксирный трос лопнет, а? – Мечты и воспоминания сразу вылетели из головы Бадукова.

– Все может быть... – ответил Росомаха.

– Ребят надо предупредить, боцман!

Росомаха помрачнел.

– Сам знаю, что надо... А ты устал? Вниз хочется сползть? Ну, иди вниз, покури...

Боцман легонько подтолкнул рулевого к дверям и сам стал к штурвалу. Эх, молодозелено: даже не соображает, что «Кола», пока она тянет на хвосте две тысячи тонн стали, никому помочь не сможет...

«Полоцк» не хотел слушаться руля и рыскал с волны на волну как очумелый.

– Подожди, шкура, не на того напал! – с угрозой процедил боцман. Он отпустил рукоятки и с полминуты стоял сторонним наблюдателем, не касаясь штурвала. «Полоцк» все дальше и дальше уходил с кильватера, пока страшный рывок буксирного троса не заставил его остановиться. Только тогда, дав судну «отыграться», Росомаха завертел штурвал и ни на йоту не разрешил «Полоцку» перейти кильватер в другую сторону. Это был опасный прием – буксирный трос и так работал с предельной нагрузкой. Но ощущение, которое возникает, когда своими руками дерешься с морем, через рукоятки штурвала чувствуя каждый вздох волны, властно пробудилось в Росомахе, как только руки легли на эти рукоятки, а все другое забылось.

– Ванваныча укачало! – доложил Бадуков, вернувшись и принимая от боцмана штурвал. – Вонница в трюме бензиновая. Вот он и того.

Росомаха не ответил: нос «Полоцка» так высоко взлетел на очередной волне, что закрыл и «Колу», и все море впереди. Боцман сжал челюсти до скрежета в зубах: если рванет сейчас трос, то лопнет наверняка!

Но «Полоцк» перевалил волну.

На миг Росомаха увидел «Колу», бурун за ее широкой кормой, сбитый набекрень клуб дыма у трубы. Потом «Кола» провалилась за гребень следующей волны и опять скрылась из глаз...

По сравнительной мягкости, с которой «Полоцк» перевалил громадную гору воды, по размеру буруна от винтов за кормой «Колы» Росомахе почудилось, что «Кола» сбавила ход. Рывки тоже стали легче, а буксирный трос почти не выказывался из воды... Сбавили. Что у них там? Может, уже все закончилось? Есть ли на лесовозе палубный груз? На лесовозах часто берут лес прямо на палубу в штабеля. От удара о камни, от сотрясения сперва полетят, смахивая все на своем пути, лесовины из этих штабелей... Если с одесситами все кончилось, маячный сторож с Канинского маяка на много лет не будет знать забот о дровах и строевом лесе. Горы разломаченных в прибое досок и бревен наворотит море в скалах под берегом...

Росомаха полез в ящик рации. «Кола» не вызывала на связь, но он хотел знать, почему она сбавила ход и что случилось с теми тридцатью восьмью и их рыжим боцманом. Он поставил обратно предохранитель и запустил рацию.

С трудом отпихнув размокшую дверь, в кормовую надстройку пролез Ванваныч. Лицо его от качки осунулось, слипшиеся от соляра волосы свисали на глаза.

– Магнето у меня, Зосима Семенович, у второй помпы... Заменить надо, а я его забыл... Виноват я: стала помпа... Вот не знаю теперь, что и делать...

– Что? Что? – переспросил боцман сердито. Сейчас ему было мало дела до всех помп Ванваныча, вместе взятых.

Моторист махнул рукой, потом обтер лицо ветошью и опять выбрался из рубки. Ему казалось, что боцман разозлился на него, что от этой помпы и зависит судьба их всех – и Лешки Бадукова и Мишки Чепина...

Ванваныч спустился к помпам и опять начал копать в моторе. Время от времени его тошнило. Гаечные ключи, инструмент на резких кренах отползали от него. Свет электрического фонарика слабел и краснел – батарея была на исходе. Тьма все ближе подступала к Ванванычу, черная жижа неуклонно поднималась из глубины трюма. Но моторист старался не обращать внимания на все это. Он должен был починить помпу. Должен. Ведь он спасатель, и сам вызвался сопровождать «Полоцк» в последний путь через штормовое море.

Росомахе не показалось, что «Кола» сбавила ход. Гастев действительно сделал это. Если Росомаха подвел и «Кола» все равно не успеет отвести «Полоцк» куда-нибудь в безопасное место, а потом вернуться к «Одессе», то не к чему искушать судьбу, форсируя ход и рискуя оборвать буксирный трос.

Капитан-спасатель будет оправдан морским правом: без согласия своих людей он не может рисковать ими. А решить самому за них у Гастева не хватало духа, потому что капитан «Одессы» от имени своей команды на общей волне – «Всем, всем, всем!» – объявил, что отказывается от помощи спасательного судна «Кола». Он отказывается из-за того, что «Кола» связана буксировкой и не может оказать ему помощь, не рискуя своими людьми. Они были мужественными ребятами – эти тридцать восемь человек с лесовоза «Одесса» и их капитан. Давая такую радиограмму на общей волне, капитан «Одессы» снимал с Гастева всякую ответственность. Все приняли радиограмму. Ее записали в десятки журналов радиосвязи разных портов, в десятки вахтенных журналов далеких кораблей.

Юридически Гастев был чист. Он сбавил ход, проклиная тот день и час, когда взял к себе на судно Росомаху, когда согласился буксировать «Полоцк».

Теперь на лесовозе готовились к последнему и дрейфовали, стравив якорь-цепи до жвака-галсов; ждали, когда якоря коснутся грунта...

Гастев больше не спускался в радиорубку, чтобы разговаривать с Росомахой самому. На вызов боцмана ответил радист.

– Они дали отказ на общей волне! – кричал радист. —А как у вас? Доложите уровень воды во втором трюме! Давай, давай сводку, товарищ Росомаха! Сводку...

Росомаха выключил рацию и пихнул ее сапогом. Бадуков много раз в своей жизни слышал, как ругаются иногда люди, тем более боцманы, но то, как ругался сейчас Росомаха, напугало его.

Росомаха выбрался из надстройки. Ему душно стало там.

Он поднялся на самое высокое место «Полоцка» – разрушенное крыло ходовой рубки – и навалился всей тяжестью своего промерзшего тела на ржавый металл поручней.

Впереди – над волнами – то появлялись, то пропадали мачты «Колы», крестили все вокруг торопливыми взмахами рей. Буксирный трос кромсал волны. Брызги фонтанами вздымались над форштевнем.

Оскальзываясь и зажимая глаза рукой, медленно забрался к боцману Ванванычу.

– Работает! Работает! Наладил! – крикнул он в ухо боцману. – Помпа второго трюма вошла в строй, товарищ боцман!

– Черт с ней! Иди разбуди Чепина и вместе с ним приходи в надстройку. На лесовозе отказались от помощи... – Боцман говорил тихо, ветер и грохот моря заглушили его слова. Ванваныч опять не понял, о чем говорит боцман.

Моторист все не уходил с мостика. Ему хотелось, чтобы Росомаха похвалил его, ведь он все же наладил эту упрямую помпу во втором трюме.

На «Коле» горели ходовые огни. Опять мигал гакабортный на ее корме.

– Вася! – крикнул Росомаха и обнял Ванваныча за плечи. – Сыпь вниз, подними Чепина... И посоветуйтесь между собой... «Одесса» от помощи отказалась! Из-за нас! Буксир надо рубить. Понял? Буксир! Как решите, так и делать будем... И скажи Бадукову: пусть отличительные огни зажжет.

Моторист молча кивнул и стал торопливо спускаться.

Боцман наконец остался один. Он хотел закурить, но спичечный коробок намок. Тогда Росомаха вытащил из-под подкладки неприкосновенный запас огня – щепотку спичек, засунутую в соску. Прикурил и затянулся так глубоко, что почувствовал ломоту в груди.

Он не сомневался, что решат сейчас эти ребята. Разве Андрей мог решить как-нибудь иначе? Но не близость развязки мучила теперь. Он ясно представлял себе маленькую фигурку капитана Гастева в углу рубки на «Коле»... Как он презирает сейчас его, боцмана Зосиму. И за дело. А ребята с «Одессы»? Что они думают о нем? Плохо он завязывает свой последний узел...

Внизу – метрах в десяти – то разбивались о «Полоцк», то, горбатясь, ныряли под борта шипучие волны. Росомаха не привык стоять так высоко над ними. Это капитаны и штурманы привыкают стоять высоко над морем, на ходовом мостике, а боцман всегда остается совсем рядом с ним – рукой достанешь. Боцман – палубный служака, ему ни к чему наверх лазить.

...Море может топить корабли, рушить причалы, убивать людей. Это оно делало всегда. Делает и сейчас, но это все – чепуха, мелочь. Страшно и обидно, когда море, океан смущают людям душу. Вот он сам вызвался идти на этой дырявой лоханке сквозь шторм, а потом... Будет ли ему прощение? Если успеет «Кола», то, может, и простят... А если не успеет? Кто будет виноват в гибели тридцати восьми?

«Кола» включила прожектор. Голубой слепящий луч просверлил дыру в сумерках и ударил Росомаху по глазам, уперся в них – точно заглядывал под мокрые рыжие брови, выпытывая и угрожая. От изуродованных надстроек «Полоцка» метались по палубам синие тени. Росомаха прикрыл глаза рукавом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.